

О критериях выявления и стратификации булгаро-чуваших заимствований в пермских языках II¹

Статья представляет собой вторую и заключительную часть исследования, посвящённого анализу тюркских заимствований булгаро-чувашихского типа в пермских языках. В этой части предлагаются дополнительные фонетические критерии, характеризующие в первую очередь поздние (XIV–XV вв.) булгаризмы, прежде всего, в удмуртском языке, источник которых уместно определять как среднечувашихский язык. С учётом того, что в первой части исследования был выделен слой ранних (VIII–IX вв.) заимствований из древнечувашихского языка в прапермский, обсуждается механизм обновления заимствований в булгаро-пермской контактной лексике: рассматриваются, в частности, случаи сохранения старого заимствования в коми и замещения его новым чувашихизмом в удмуртском, а также сохранения старого заимствования в удмуртском и замещения его заимствованием из русского языка в коми. Далее отдельно рассматривается вопрос о зонах поздних узколокальных контактов между среднечувашихскими говорами и уже разошедшимися диалектами языков пермской группы и, в частности, о возможном присутствии чувашихязычного населения в бассейне р. Чепцы вплоть до XVII в. В этом контексте обсуждаются возможные следы позднего сепаратного чувашихского влияния в бесермянском наречии, северных удмуртских, южных коми-зырянских, а также чепецко-татарских говорах. В финальной части исследования, после обсуждения прочих идентифицируемых пластов булгаризмов в пермских, рассматривается особая группа заимствований, широко распространённых как в удмуртских, так и в коми диалектах (в т. ч. за пределами южнокоми ареала) и демонстрирующих нетривиальные коми-удмуртские соответствия. Этот пласт заимствований предлагается датировать примерно X–XIII вв., его источник может быть определён как поздний древнечувашихский, а на роль реципиента претендует находившийся в процессе распада общепермский диалектный континуум. В целом предлагаемая реконструкция указывает на практически непрерывные булгаро-пермские языковые связи с начала переселения булгар в Волго-Камский регион в самом конце VII в. и до XVI–XVII вв., когда чувашихское население Арской стороны постепенно ассимилировалось среди татар и вероятный чувашихский этноязыковой компонент на Чепце также растворился среди окружающих народов.

Ключевые слова: пермские языки; удмуртский язык; коми язык; булгаро-чувашихские заимствования; чувашихский язык; татарский язык; языковые контакты; стратификация заимствований; историческая фонетика; этимология.

¹ Статья написана в рамках работы по гранту Российского научного фонда № 24-18-00148 «Этимологический словарь удмуртского языка (славянские, тюркские и среднеиранские заимствования)» (<https://rscf.ru/project/24-18-00148/>). Support from the Russian Science Foundation under grant No. 24-18-00148 (<https://rscf.ru/en/project/24-18-00148/>) is gratefully acknowledged. Автор выражает признательность А. В. Дыбо, М. А. Живлову, П. С. Злобину, Р. И. Идрисову, К. Калверу, А. Л. Мусихину, Н. С. Мясникову, В. В. Напольских за ценные замечания как общего, так и частного характера.

1. Ещё раз о формальных признаках болгаризмов в пермских языках: адаптация среднечуваши́х заимствований в удмуртском и смежные вопросы

Некоторые звуковые переходы, отражающиеся в волжско-българском ареале, действовали заведомо после начала българо-пермских (точнее, древнечуваши́ско-пра-пермских) контактов, наиболее ранний пласт которых датируется VIII–IX вв. (см. первую статью цикла — Савельев 2025: 154–161). Таким образом, в отличие от 15 критериев, рассмотренных в первой части (там же: 139–147), эти признаки не всегда являются диагностическими с точки зрения строгого разграничения българских и кыпчакских заимствований (българское состояние до действия перехода может совпадать с кыпчакским). Однако они позволяют идентифицировать в корпусе българизмов пермских языков (прежде всего, в удмуртском) поздние заимствования. Предварительно датировать основной пласт этих заимствований можно XIV–XV вв., а их источник уместно называть среднечуваши́ским языком; речь идёт о состоянии, промежуточном между древнечуваши́ским (примерно до XIII в.) и современным чувашским (с XVII–XVIII вв. и далее). Из этого же среднечуваши́ского состояния было заимствовано огромное количество лексики (более 1700 слов) в марийский язык, материал которого для наглядности также включается в нижеследующую роспись этимологий.

Консонантизм (дополнительные критерии)

(xvi)² ПТ *ć > болгар. *ć > др.-чув. *ć > позднедр.-чув., ср.-чув. *ś³ [→ удм. ś]. Критерий № 10 по Ю. Вихманну (Wichmann 1903: 3–4) и А. Рона-Ташу (Róna-Tas 1988: 764). Внутри корпуса българизмов пермских языков случаи с такой рефлексацией противопоставлены случаю др.-чув. *ćömlä → ППерм (*ćomal'j >) *ćumal'j 'копна' (см. Савельев 2025: 151, 158) и рассмотренным ниже в секции 2 случаям др.-чув. *ćārla → ППерм *ćārla 'серп', др.-чув. *bārčōn → ППерм *bār(t)čin 'шёлк', др.-чув. *keci ~ *keča → ППерм *ke/ęc 'коза'. В татаризмах удмуртского языка предковый *ć стандартно отражается как ć (хотя среди локальных заимствований из чепецко-татарского отмечаются и заимствования с ś — см. их обсуждение ниже под критерием xviii). Ср. отражение *ć > ś в следующих българизмах удмуртского языка.

- Удм. (диал.) *juśi* 'печаль, скорбь, грусть; жалостно' ← ср.-чув. *jōśś-i(j) > чув. *jüśś-i* 'горькое, горечь', (метафорически) 'неудача'. Чувашская форма — субстантивация от *jüžä* 'кислый, горький', перен. (!) 'огорчительный' < ПТ *iāciγ 'горький; кислый', откуда и тат. *acā, äcā* 'тж.'. Чувашское происхождение принято для удмуртского слова уже в Wichmann 1903: 66 — правда, источником у Ю. Вихманна считается несубстантивированная форма. Из среднечуваши́ского источника также мар. *jōśś 'трудный, тяжелый, тягостный' (Itkonen 1970: 262).
- Удм. *śaldar* 'края (у сковороды)', (бес., см. Кузнецова и др. 2013: 412) 'открытая полка (без стенок, крепится к стене и используется на кухне для хранения утвари)' — к чув. *śat-ma* 'сковорода', откуда также и мар. *śālmä > луг. *salma*, горн. *selmä*, СЗ *sālmä* 'сковорода'. Насколько известно, для удмуртского слова чувашская этимология предлагается

² Ради целостности презентации фонетических критериев българизмов в пермских языках нумерация признаков продолжает начатую в (Савельев 2025: 139–147).

³ Развитие *ć > *ś само по себе не является критерием разграничения древнечуваши́ского и среднечуваши́ского состояний: фриктивизация *ć могла произойти уже в позднедревнечуваши́ский период. Это уточнение важно с точки зрения интерпретации пласта заимствований, обсуждаемого ниже в секции 4.

впервые. Основа чувашского слова восходит к ср.-чув. **šärt-*, а заимствованные из чувашского финно-угорские формы — к, по-видимому, вторичному ср.-чув. варианту **šält-*. Как полагал уже М. Рясянен (VEWT: 105), в чувашском отражается ПТ **ćert-* ‘обрезать края, делать зарубки’. С этим можно согласиться: семантически сравнение беспроблемно, а аналогичное по распределению сосуществование вариантов **šVrt-* (> *šVt-*) на чувашской почве и **šVlt-mA* (> *sVlmA*) в чувашизме марийского языка находим в случае чув. *širt-ma*, *šit-ma*, *šid-ak* ‘детские штанишки с прорехой’, (диал.: СЗ) *šât-ma* ‘зимние штаны из толстого домашнего сукна’ и мар. (луг., горн.) *sâlma* ‘зимние штаны из домашнего сукна’⁴. Несомненного рефлекса ПТ **ćert-* в татарском нет; в EDAL: 435 такими считаются *ćirt-* ‘щёлкать’ и *ćärd-äk-lä-* ‘раздробить, размозжить’, но оба случая семантически не вполне убедительны. Ввиду невозможности объяснить фонетические субституции выглядит случайным сходство удмуртского слова с чув. *sändrâ* ‘полати; полка’ и тат. *sändärä* ‘полати; нары’. Впрочем, в СЧЯ XI: 94 для чув. *sändrâ* даётся в т. ч. значение ‘толстая доска... от улчупи [посудного шкафчика без дверок] к другой стене, куда ставят чашки’, которое практически тождественно значению *šaldar* в бесермянском. В этом наречии можно предполагать контаминацию двух чувашских по происхождению основ.

- Удм. (+бес.) *šáska* ‘цветок’ ← ср.-чув. **šäs-kä* (откуда регулярно чув. диал. *šas-ka* при вторично упреждённой литер. форме *šäs-kä*) ‘цвет (растений); ботва’ (< ПТ **ćec-* ‘распускаться, расцветать’). Ср. Wichmann 1903: 97; Róna-Tas 1988: 764. Из чувашского источника также мар. **šäs-kä* ‘ягоды, плоды; цветы; ботва; ростки’. Ср. УТ **ćec-ek* > тат. *čäčäk* → чув. *čäžäk* ‘цветок’.
- Удм. *šetj* ‘украшение для косы, девичий наконечник (из косточек)’ ← ср.-чув. **šew(ə)ta* (чув. диал. *šida* ‘коса’ при литер. *šivat* ‘тж.’) < булг. **čegdū* ~ УТ **čügde* ‘заушная кость ~ затылок’ (без рефлекса в татарском). Ср. Wichmann 1903: 99.
- Удм. (+бес.) *šulo* ‘кнут, бич’ ← ср.-чув. **šol-a* (чув. *šol-a* ‘плеть, кнут’), диминутив от **šolâ* < ПТ **ćal-uγ*. Из чувашского источника также мар. **šola* ‘тж.’. Дальнейшие этимологические комментарии см. в (Савельев 2025: 143).
- Удм. *ukšo* ‘деньги’ ← ср.-чув. **okša* (чув. *okša* ‘тж.’), что является продолжением ПТ **āq-ća* (белый-COLL) ‘деньги, монеты’ (как бы “белое”, под которым подразумеваются серебряные монеты) напрямую (в таком случае это единственное чувашское слово, отражающее корневую основу **āq*; развитие **q* > чув. *k* рядом с *š* ожидаемо) или, может быть, как достаточно раннее заимствование из узкотюркской ветви. Из чувашского источника также мар. **okša* ‘деньги’. Ср. тат. *aqša* ‘деньги; монета’. Чувашская этимология удмуртского слова принята уже в Wichmann 1903: 122.
- Ср. также аналогичное развитие в удмуртском слове, продолжающем раннее заимствование в волжско-булгарский из арабского: удм. (диал.) *kerś*, *körś* ‘подать’ ← ср.-чув. **xšr(ə)ś* (чув. *xiržâ*, диал. *xirâś* ‘тж.’). Далее к др.-чув. **xšr(ə)ś* ← араб. *ḥarj* ‘расходы, издержки’. Из того же арабского источника тат. (диал.) *harâž*, *harâc*, *qärâž* ‘деньги’; отсюда и рус. *харч*, (PL) *харчи* ‘съестные припасы, продовольствие’. Ср. Wichmann 1903: 73–74; Róna-Tas 1988: 762.

⁴ Это слово может быть возведено к чув. *šir-t-*, каузативно-интенсивной форме глагола *šir-* ‘царапать, чертить и т.п.; писать’ (< ПТ **ja-t-*), среди значений которого есть и значение ‘проводить борозду’, хорошо совместимое с предполагаемой первичной семантикой ‘штаны с прорехой’ у производного имени. Сокрытие *j* > *š* в северо-западном чувашском, отражаемое и в марийском, обусловлено, очевидно, позицией перед очень не характерным для чувашского языка трёхконсонантным сочетанием.

Развития др.-чув. *ć > ср.-чув. *ś не происходило (т. е. фрикативизация блокировалась) в особом фонетическом окружении. В частности, это касается старого сочетания *jć, которое отражается в следующих чувашских заимствованиях удмуртского языка.

- Удм. *bećj*, (диал.) *böci*, *bići* и т. п. ‘жук (в целом или — по диалектам — отдельные разновидности: хрущ, навозник, светлячок); личинка овода’ ← ср.-чув. **bö(j)ći(j)* (без рефлекса в современном чувашском) < др.-чув. **böjčä-j* (DIM) < ПТ **bög-čäk* (~ -ö-) ‘насекомое’, не имеющее рефлекса в татарском. Дальнейшие детали этимологии см. в Савельев 2025: 142. Ср. также Wichmann 1903: 44–45.
- Удм. *beće* ‘родственник’, (диал.) ‘сосед; (старший) брат; ровесница, подруга, спутница’, (бес.) ‘родня (родственники, живущие отдельно друг от друга, имеющие разных родителей, но связанные кровным родством)’ (Кузнецова и др. 2013: 56–57) ← ср.-чув. **bę(j)ćä* (чув. *pićä* ‘старший брат; дядя по отцу’) < др.-чув. **bęj-čä* < ПТ **bęg-čä*, диминутивное образование от **bęg* ‘старейшина рода, бег’. В узкотюркской ветви рефлекс этой формы употребляются с гендерным сдвигом, ср. параллельный чувашскому переход в терминологию родства в горноалтайских диалектах (*pićä* ‘ältere Schwester’) и обращения к высокородным дамам в западнокыпчакских языках (кумык. *bi:če* ‘Frau’, балк. *bijce* ‘Frau, Herrin, Fürstin’, караим. *bičä* ‘Königin’; VEWT 67)⁵. В татарском находим *bičä* ‘жена, замужняя женщина’, к которому в принципе могут восходить удмуртские формы с женским денотатом (если только это не внутриудмуртское развитие), но формы с мужским денотатом — явно чувашского происхождения. Ввиду совпадения значений и узколокального распространения тат. (диал.: чеп.) *bić-i* ‘родственник’ лучше считать заимствованием из удмуртского, как это и делается в (ТТДС: 89). Ср. Wichmann 1903: 44.

Кроме того, фрикативизация др.-чув. *ć блокировалась в позиции т.н. болгарских палатализаций, т. е. перед ПТ **I*, **Ī* или *i*-образным элементом восходящего дифтонга. Об очень ранней первой болгарской палатализации см. Савельев 2025: 141, о т.н. второй палатализации см. ниже критерий (хvii); некоторые случаи с сохранением старого *ć в болгарской ветви рассмотрены в контексте их отражения в болгаризмах венгерского и южнославянских языков в (Дыбо 2011). В целом надо сказать, что из всех болгарских палатализаций случаи с ПТ *ć — наиболее проблемные; вне позиции перед старым неогубленным узким гласным для объяснения чув. ć в каждом конкретном случае приходится выбирать, вводить ли в реконструируемую пратюркскую форму дифтонг или же считать чувашское слово заимствованным из узкотюркской ветви. Только если налицо серьезные аргументы против такого заимствования, пратюркские последовательности вида **ćiV-* могут реконструироваться более-менее уверенно.

Что касается отражения данной особенности в чувашизмах удмуртского языка, ср. случай удм. (диал.) *ček*, *cek*, *čök* ‘вот тебе [жертва]! вот, на!’, *ček-an* ‘жертвоприношение’ ←

⁵ Ранее я предложил считать чувашское слово заимствованием из какого-то кыпчакского рефлекса ПТ **bęg-će* (Савельев 2023: 35), имея в виду, прежде всего, несовпадение в вокализме между чув. *pićä* ‘старший брат’ и чув. *pü* ‘князь’ (только в сложениях), где последнее слово отражает чистую пратюркскую основу. Однако развитие ПТ **bęg* > чув. *pü* в любом случае нерегулярно (ожидалось бы чув. ***pü*); может быть, стоит реконструировать чистую основу как ПТ **bögö*, предполагая в булг. **bög(ö)* > чув. *pü* наведение огубленности по второму слогу, а в ПТ **bęg-će* ожидаемое выпадение инлаутного неширокого гласного. При этом с точки зрения семантики возведение чув. ‘старший брат; дядя по отцу’ к предковому *‘князюшка’ достаточно тривиально (и в части развития значения чистой ПТ основы **bęg* находит параллели в сибирско-тюркском ареале; см. ЭСТЯ 2: 99), в то время как предположение о кыпчакском посредстве потребовало бы постулирования двойного (!) гендерного сдвига (мужской денотат в пратюркском > женский в кыпчакском > мужской в чувашском).

ср.-чув. **čök* (чув. *čük* ‘жертвоприношение’) (Wichmann 1903: 114–115). Вопреки Itkonen 1970: 263, чувашское слово не следует считать заимствованием из тат. (диал.) *čök, čük*. Татарское слово специфично для кряшенских говоров (значение в христианизированном контексте — ‘праздник заговения в Троицын день’, см. Эхмэтьянов 2015, II: 460), а культурная лексика кряшен в значительной степени имеет чувашское происхождение; естественно предполагать обычное направление заимствования и в этом случае. Чув. *čük* находит прямые параллели в сибирско-тюркском материале; ср., в частности, алт. *čök* ‘возлияние при жертвоприношении’ (Diószegi 1970). На этом основании может быть реконструировано ПТ **čjök* ‘жертвоприношение’. Косвенно на раннее присутствие рефлекса этой основы в болгарской ветви указывает вероятный болгаризм в венгерском *csök* ‘гуляние по поводу крестин’. На узкотюркском материале реконструируется также заднерядный вариант той же основы — ПТ **čioq* (Дыбо 2011). Заимствование из среднечувашского **čök* отражается в мар. горн. *čök* ‘языческий обряд’, *čök-lä* ‘приносить жертву’, заимствование из некоторого рефлекса заднерядного варианта тюркской основы — в мар. лут. *čök-lä*, СЗ *cök-lä* ‘приносить жертву’.

С другой стороны, не может считаться исконным источник удм. *čibor* ‘пёстрый’ — ср.-чув. **č̣x̣bar* (чув. *č̣äbar* ‘пёстрый, рябой’). На этимологически неогубленный узкий гласный указывает не только заимствование в удмуртский, но и материал старописьменных памятников: так, в записях Н. И. Золотницкого, хорошо различавшего чувашские огубленные и неогубленные редуцированные гласные, данная основа записана как ‘чыбар’ (КЧРС: 105). В таком случае в чувашском находит продолжение пратюркский вариант **č̣ipar* (> узб. *čipar*, уйг. *čipar*, караим. *čibar* и т. д.). При этом в случае исконного рефлекса ожидалось бы чув. **č̣äbär*, так что *č̣äbar* следует считать заимствованием из кыпч. **č̣ibar* (> тат. *č̣äbar*, башк. *säbar* ‘пёстрый, рябой’). На фоне других вариантов этого пратюркского слова (**č̣orur*, **č̣ipar*, **č̣ibar*; см. EDAL: 454, 1344) вариант **č̣ipar* может быть объяснён контаминацией с глаголом **č̣ip-ar-* ‘покрываться пылью, волдырями и т. п.’, связанным с именем **č̣ip-γan* (ср., например, в гагаузском: *čibar-* ‘покрываться чирьями, фурункулами’, *čiban* ‘чирей, прыщ’). Тат. *č̣iwar* ‘пёстрый, рябой’ восходит к ПТ **č̣ibar*, а тат. (диал.) *č̣öbar* ‘тж.’ — к ПТ **č̣ipar*, причём из последнего татарского варианта заимствованы удм. (диал.) *čibor* ‘пёстрый, рябой’ и мар. **č̣öbar* ‘пёстрый, рябой; сыпь, прыщ, волдырь’. Соотношение форм чувашского и татарского происхождения в удмуртском (но без дальнейших этимологических деталей) было верно установлено уже в Wichmann 1903: 115.

Не является исконным и источник удм. *čulka*, (диал.) *čulko* ‘чулки, носки’ — ср.-чув. **č̣ulxa* (чув. *č̣ạ̈ḷxa* ‘чулки’). Чувашское слово выглядит как нативизация заимствованного тат. *č̣öḷx̣aw* ‘портянки, онучи’ (с заменой характерного аффикса татарских deverbativov -Aw на характерный аффикс чувашских deverbativov -A). Татарское имя образовано от глагола *č̣öḷya-* ‘обвёртывать, обматывать; опутывать’, продолжающего ПТ **č̣(i)uḷya-* ~ **č̣(i)uγ-la-* < **č̣(i)uγ* ‘связка’ (см. VEWT: 119; EDAL: 453); из этого татарского глагола заимствовано чув. *č̣ạ̈ḷxa-* ‘запутать (нити)’. Такая схема значительно лучше объясняет соотношение между значениями чувашского глагола и чувашского имени, чем предположение о прямой производности чув. именной основы *č̣ạ̈ḷxa* от глагольной *č̣ạ̈ḷya-* (через присоединение deverbativного -A к глагольной -A-основе, что формально неотличимо от конверсии). На чувашское происхождение удмуртского слова указывают как его значение, так и облик ауслаута (в случае татаризма ожидалось бы -au). Из ср.-чув. **č̣ulxa* ‘чулки’ заимствовано, помимо удмуртского слова, и мар. **č̣ulka* ‘тж.’. Ср. на этом фоне коми *čulki*, *čivki* ‘тж.’ ← рус. чулки ← тюрк. (Wichmann 1903: 118).

Требует специального обсуждения случай удм. *čigl-es*, (диал.) *čulg-es* ‘носки, чулки (из домотканного сукна или холста)’ ← некоторый рефлекс упомянутого ПТ **č̣(i)uγ-la-* ~

ć(i)ulɣa* ‘обматывать’. В удмуртских формах практически лобовым образом отражаются как первоначальный, так и метатезированный варианты тюркского глагола. В части отражения ПТ **ɣ* эти формы находят явную параллель в основе удм. (диал.: ю., сред.) *bugro*, (сев.) *bugra*, (бес.) *bâgra* ‘сруб’, неотделимой от ср.-чув. **buvra* (> чув. *pûra*, диал. *pâvra* ‘тж.’, заимствовано также в марийский как **pûwra*) < ПТ **boɣra* ‘делать надрезы, пропилы’ (VEWT: 78). Ср. также тат., башк. *bûra* ‘сруб’, но с учётом того, что за пределами Волго-Уральского региона имя с такой семантикой в узкотюркской ветви не встречается, очень вероятно, что татаро-башкирское слово является болгаризмом. В случае ‘сруба’ собственно удмуртский и бесермянский варианты основы с конечным *-a* следует считать результатом межъязыковой интерференции — перестройки удмуртского слова под влиянием татарского в зоне тесных контактов (в старом заимствовании ожидалось бы **-a* непервого слога > *-o*, что и находим в варианте *bugro*). Удм. *g* в рассматриваемых основах не может быть прямым продолжением ПТ **ɣ*, поскольку в обеих тюркских ветвях, контактировавших с пермскими языками, — болгарской и кыпчакской — поствокальный **ɣ* очень рано (заведомо до указанных контактов) переходил в **w*. В связи с этим нельзя согласиться с принятой в Идрисов 2013: 49 интерпретацией удм. *bugro* как «несомненного кыпчакизма». При этом против раннего заимствования по крайней мере удм. *ćugles* ~ *ćulges* из болгарской ветви свидетельствует отражение гласного *u* на месте ПТ **u*: в случае принадлежности к древнейшему слою болгаризмов ожидалось бы удм. *i* (Савельев 2025: 159). Косвенным аргументом против раннего заимствования является документация этих двух основ только в удмуртском, но не в коми. На этом фоне обращает на себя внимание то обстоятельство, что в обоих случаях рефлекс ПТ **ɣ* находится в кластере с сонантом. По-видимому, весь этот комплекс фактов объясним, если предполагать в удмуртском уже постпрапермские заимствования из тюркского идиома, в котором **w* развивал шумную артикуляцию в консонантном кластере (ɣ^wl*, **ɣ^wr*?) и поэтому на удмуртской почве имела место адаптация соответствующих кластеров как **gl*, **gr*. Заметим, что Б. Мункачи и Ю. Вихманн не считали возможным уверенно предпочитать чувашский либо татарский источник для удм. *ćugles* ~ *ćulges* (Munkácsi 1896: 327; Wichmann 1903: 117–118). Всё же, поскольку, во-первых, прошедшим через кыпчакское посредство выглядит паронимическое *ćulka* (см. выше) и, во-вторых, в параллельном к *ćugles* случае *bugro* соответствующая татарская форма сама выглядит как болгаризм, вывод именно о болгарском — позднем древнечуваши́х — источнике удм. *ćugles* (соответственно, и о единой болгарской интерпретации обоих случаев) представляется наиболее обоснованным.

(xvii) Вторая болгарская палатализация: ПТ **t(I)*, в постсонантных контекстах также **d(I)* > булг., др.-чув. **t(I)* > ср.-чув. **ć* с полувзвонным аллофоном **-ǰ-* в интервокальной позиции (распределение сохраняется в современном чувашском) [→ удм. *ć*, *ǰ*, но позиционно *č*, *ǰ*]. Как критерий болгаро-чуваши́х заимствований этот переход отсутствует у Ю. Вихманна и А. Рона-Таша. Развитие зубных взрывных в аффрикату не отражается в болгаризмах ни венгерского, ни южнославянских языков. С учётом того, что в волжско-болгарских эпитафиях данный тип палатализации отражается непоследовательно, в работе Дыбо 2011 обосновывается точка зрения, согласно которой он подействовал «только в волжско-болгарском, причём не ранее XIV в.». Аффрикату как результат болгарской палатализации находим в случае удм. *tuǰko*, (диал.) *turǰičo*, *turkkičo* ‘кочерга’ — ср. чув. *torǰǰga*, *torćka*, (диал.) *torâćka* ‘тж.’ (Wichmann 1903: 110–111). И в удмуртском, и в чувашском отмечаются метатезированные варианты, но ранний облик основы представлен в чув. *torǰǰga* (← ср.-чув. **torǰǰGa*). Это старое производное от ПТ **tart-* ‘тянуть’, ср. другие названия кочерги в чувашском (*tort-ma*, *tort-mala*), а также в соседних тюркских языках

(тат. диал., башк. *tärtaškä* ← предковая форма недокументированного чув. ***tortäška* → удм. диал. *turttuško*⁶); с семантическим сдвигом чувашский источник отражается и в мар. (луг.) *torćak* ‘костыль, посох’, *torćaka* ‘требок (грабли без зубьев для сгребания зерна; швабра)’. Ср.-чув. **tərǰāGa* восходит к более раннему **tārt-İK-a*. В удмуртском довольно неожиданно отражение твёрдых аффрикат -ǰ-, -č-; надо думать, это развитие из этимологических -ǰ-, -č- в сочетании с -r-.

(xviii) Потенциально критерием стратификации болгаро-чувашских заимствований в пермских могло бы служить и наличие или отсутствие **w*-протезы при развитии пратюркских начальных огубленных гласных (ср. Напольских 2018: 81). Эта протеза составляет критерий № 5 по Ю. Вихманну (Wichmann 1903: 3) и А. Рона-Ташу (Róna-Tas 1988: 763). Установление её хронологии, особенно ввиду возможной неодновременности наведения **w*-протезы при различных огубленных гласных, требует дополнительных разысканий. Во всяком случае материал болгаризмов в венгерском и славянских языках (Дыбо 2010; Дыбо 2021) как будто указывает на то, что долгие огубленные в болгарской ветви дифтонгизировались заметно раньше, чем краткие. Протеза на долгих последовательно отражается в различных пластах заимствований (ср. венг. *váj-* ‘копать’ ← булг. < ПТ **ōj-* ‘долбить’; венг. *vályú* ‘кормушка’ ← булг. < ПТ **ōliuq* ‘жёлоб’; ст.-слав. *верига* ‘цепь’ ← булг. < ПТ **ōr-ūk* ‘тж.’; вост.-слав. *ватага* ‘шатер’ ← булг. < ПТ **ōtaγ* ‘тж.’). Краткие же огубленные по крайней мере на начальной стадии болгаро-венгерских контактов ещё сохраняли своё историческое качество (ср. случаи типа венг. *ökör* ‘бык’ при чув. *vǝ°gǝ°r* < ПТ **öküü* ‘тж.’). Хотя бы относительная датировка дифтонгизации кратких огубленных на этом материале остаётся неопределённой⁷. При этом в корпусе волжско-булгарских эпитафий последней трети XIII — середины XIV в. в основах с анлаутом на старый огубленный (в т.ч. краткий) уже последовательно выписывается *vāw*: *وَلَت* **wel-t-i* (умирать-PST-3) ‘он умер’ ~ чув. *vil-ǰ-ə* < ПТ **öl-t-i* ‘тж.’; *وَلَت* **w.t.r* ‘тридцать’ ~ чув. *vǝ°dǝ°r* < ПТ **otuü* ‘тж.’; *وَرُم* **worum* ‘длинный, высокий’ (в составе личных имён) ~ чув. *vǝ°rǝ°m* < ПТ **uǰin* ‘тж.’ и т. п. Заманчиво интерпретировать данную орфографическую особенность как свидетельство того, что к этому времени **w*-протеза была системно наведена. На материале чувашских заимствований в марийский язык, массовое проникновение которых предварительно датируется XIV–XV вв. (то есть синхронно основному пласту чувашско-удмуртских контактов), завершённое наведение **w*-протезы в идиоме-источнике подтверждается множеством случаев с анлаутным мар. **β-*. Что же касается болгаро-пермской контактной лексики, то ср. следующие случаи с отражением **w*-протезы.

- Удм. *вете* ‘толока, помочь’ ← ср.-чув. **wetä* (чув. диал. *vimä*, в литер. языке вторично *nimä*) ‘тж.’ < ? ПТ **ötä(g)* ~ **ütä(g)*, откуда и тат. *ötä* ‘тж.’. С тюркской стороны есть этимологические проблемы ввиду слабой представленности этого слова в узкотюркской ветви (см. ЭСТЯ 1: 633–634), противоречивых вокалических рефлексов и неясных отношений с монг. **öme* ~ **ömüg* ‘помощь’. При этом ввиду специфической для чуваш-

⁶ Ср. чув. *torda* ‘оглобля’ (< ср.-чув. **tərta* → мар. **tərta*, к.-перм. *torta*, удм. диал. *turto*), производное от *tort-* ‘тянуть’ < ПТ **tart-* > тат., башк. *tart-* ‘тж.’, но переднерядный вокализм в тат., башк. *tärtü* ‘оглобля’ — по видимому, тоже из болгаро-чувашского источника. Такой же неожиданный *ä* находим в тат., башк. *tärä* ‘икона’, которое считается в Rédei & Róna-Tas 1983: 31 надёжным заимствованием из чув. *torä* ‘Бог; икона’ (< ПТ **tanri*).

⁷ Случай волжско-булгарского заимствования в восточнославянском *ворь* (ср. чув. *vǝ°rǝ* ‘вор’ < ПТ **oyri*) нельзя считать примером на отражение «чистой» **w*-протезы, поскольку глайд имеет здесь этимологический характер (булг. **owri* > **worä* по метатезе).

ского языка **w*-протезы конкретный источник удмуртского слова не вызывает сомнений; из среднечувашского источника также мар. **βītā* ‘пóмочь’. Ср. Wichmann 1903: 128; Róna-Tas 1988: 763.

- Коми *vid-* ‘ругать, бранить’ ← др.-чув. **wit-* ‘говорить просительно, жалобно, с неудовольствием’ < ПТ **öt-*; дальнейшие этимологические детали см. в Савельев 2025: 153–154.

Следующие пермские слова ранее в различных исследованиях предлагалось считать заимствованиями из болгарской ветви в период, предшествовавший развитию **w*-протезы.

- Удм. *uśse*, (бес.) *uśše* ‘послезавтра’ уже в Wichmann 1903: 125 рассматривается как болгаризм, ср. булг. **ōčā* > чув. *vižā* ‘три’, *vižam* (уст.) ‘третий’, *višm-iñ-ä* (третий-SUBST-DAT.ACC) ‘послезавтра’, букв. ‘на третий [день]’. Принятие данной этимологии наталкивалось бы на серьёзные хронологические противоречия. Отражаемое здесь развитие **č* > *ś* во всяком случае исключает принадлежность этого слова к древнейшему слою пермских болгаризмов (см. критерий хvi). Более того, данная основа не только не имеет коми параллели, но даже в удмуртском распространена ограниченно: по данным Wichmann 1987: 301 она была известна только у бесермян, северных и западных удмуртов, а в литературный язык это слово вошло лишь во второй половине XX в. из северной диалектной зоны (Максимов 2014: 94). Это указывает на позднее заимствование (во всяком случае послемонгольского времени). При этом неотражение **w*-протезы — архаичный признак, требующий датировать данное заимствование периодом до появления традиции волжско-болгарской монументальной эпиграфики и относить его к более старому слою контактной лексики, чем отражающее **w*-протезу удм. *vete* ‘пóмочь’. Однако болгарская этимология вовсе не выглядит предпочтительной на фоне другого вероятного источника, ср. кыпч. **iic* > тат. *öc* ‘три’ и конструкцию *öc-änčä köñ-gä* ‘послезавтра’ (букв. ‘на третий день’) в татарских диалектах. В казанско-татарском наречии и, в частности, в чепецко-татарских говорах известна реализация предкового **č*, приближенная к *ś*, ср. описание в Бурганова 1962: 28: «слабовыраженная аффриката», в которой «взрывной элемент весьма незначителен»; в ряде позиций этот звук прямо описывается как «чистый щелевой мягкий спира́нт *ш*» (т. е. *ś*). Похоже, что рассматриваемое удмуртское слово — заимствование из татарского говора с аналогичным чувашскому развитию **č* > *ś*, ср. другие подобные случаи: тат. *māčā*, (диал.) *pəšāj* → удм. (бес.) *pišaj* ‘кошка’ (Кузнецова и др. 2013: 349; Идрисов 2013: 50), тат. *qinâc*, (диал.) *qinâs* → удм. (диал.) *kuñiś* ‘голенище’ (Wichmann 1903: 82), тат. *iic*, (диал.) *iś* ‘мечь, злоба’ → удм. *eś*, (диал.) *eś*, (бес.) *eś* ‘тж.’. Последний случай показателен с той точки зрения, что в плане подъема корневого гласного удмуртские диалекты отражают не современное татарское состояние, а предшествующее известному «поволжскому перебою гласных» (ср. кыпч. **öc* ‘мечь, злоба’). По-видимому, и *uś-* в удм. *uś-s-e* ‘послезавтра’ отражает вариант типа **iic* ‘три’ в татарском говоре-источнике, усложнённый уже на удмуртской почве посессивным показателем 3-го лица единственного числа *-s-* и аккузативным *-e*.
- Удм. *ar-a(l)-* ‘жаты́ хлеба’ традиционно (см. Wichmann 1903: 41–42 и приведённые там ссылки на более раннюю литературу) считается заимствованием из предковой формы чув. *vjr-* ‘тж.’ (< ПТ **or-*). Исторический вид основы типа *aral-* реально зафиксирован у Б. Мункачи (Munkácsi 1896: 27), о выпадении удм. *-l-* конца глагольной основы вне превокалической позиции см. Серебренников 1963: 251. С учётом известного соответствия между частотными наращениями к глагольной основе коми *-av-* ~ удм. *-a(l)-* на роль чистой основы претендует сегмент *ar-*. Если это старое слово, то на прапермском уровне следует реконструировать **är-* (см. об этом Савельев 2025: 154–155); уральского источника ППЕРМ **ä* (традиционно **a*) не имеет, но появляется в заимствованной лексике

в соответствии с переднерядным **ǣ* или среднерядным **a* языка-источника. Удм. *ar-* < **är-*, очевидно, не может отражать напрямую предковую форму чув. *vir-* (др.-чув., ср.-чув. **wǣr-*); речь в принципе может идти только об отражении ещё более архаичной формы, близкой к ПТ **or-*. Поскольку других примеров на субституцию ПТ **o-* таким нетривиальным образом в корпусе болгаро-пермской контактной лексики нет, данное сближение остаётся недоказуемым. На этом фоне ср. венг. *arat-* (*ar-at-*?) ‘жать хлеба’, которое традиционно считается болгаризмом (WOT I: 70–71), причём предполагаемая субституция булг. *o* → венг. *a* может быть сопоставлена с аналогичной субституцией в венгерской лексике славянского происхождения, и заимствование *arat-* считается в таком сценарии единовременным славянским заимствованием («в период, хронологически близкий к завоеванию венграми Среднего Подунавья — 895–900 гг.»; см. Хелимский 2000: 415; Дыбо 2010: 83–84). Если этот сценарий верен, удмуртское слово оказывается изолированным и не находящим правдоподобного объяснения. Но есть и другая возможность этимологизации венг. *arat-*, а именно возведение его к ПУ **šurV-* ‘резать’ (UEW: 503–504), хотя и сама реконструкция прауральского этимона в этом случае не вполне надёжна, и особенно спорна принадлежность к нему венгерского слова (венгерский гласный нерегулярно соответствует обско-угорскому и пермскому, а тем более самодийскому). Недавно С. Холопайнен составил перечень случаев, в которых венг. *a* всё же может отражать ПУ **u*, и, хотя венг. *arat-* он в этот корпус в конечном счёте не включает, решение это во многом обусловлено наличием альтернативной болгарской этимологии (Holopainen 2023: 128). Если венгерское слово всё же имеет уральское происхождение, не следует ли предполагать здесь венгерское заимствование в прапермском? При допущении прапермской древности данного слова отсутствие его рефлекса в коми можно было бы объяснить замещением в результате расширения семантики другого глагола, ср. удм. *vund-* ‘резать’ ~ коми *vand-* ‘резать; жать хлеба’. В связи с хлебо-робной семантикой ср. с большой вероятностью контактное происхождение пары венг. *kenyer* ‘хлеб’ ~ ППерм **kenV-* ‘жито, зерно, хлеба́’; правда, трактуется этот случай обычно, наоборот, как прапермское заимствование в венгерском (ср. Csúcs 2007: 97–98). Последнее обращение к проблеме венгерско-пермских контактов см. в Напольских 2026.

- Коми *usur* (диал. *usir*, *usir*), выступающее в роли именного компонента в конструкциях с семантикой ‘надсадиться, надорваться; радоваться до изнеможения’ и в качестве производящей основы для глагола *usur-m-* ‘обессилеть, изнемочь; заснуть (обессилев)’, в Geisler 2002: 241–242 предложено считать древнечувашским заимствованием, ср. чув. *vâj-zâr* [сила-CAR] ‘слабый, бессильный’. Учитывая своеобразие облика сравниваемых слов, извлекаемое из коми форм прототипическое значение, аналогичное чувашскому ‘бессильный’, а также отсутствие альтернативных объяснений⁸, указанная этимологическая связь лежит на поверхности, однако дальнейшие детали требуют обсуждения. Прежде всего, дискуссионно происхождение чув. *vâj*, (диал., вторично) *vûj*, *voj*, *vij* ‘сила’. Заимствование из ППерм **vij* ‘сила’ либо мар. **βij* ‘тж.’ (< ПУ **wäki*; Zhivlov 2023: 167), которое может быть предложено в этой связи (ср. ЭСЧЯ 1: 104), фактически исключает возможность проникновения в коми чувашской основы с вокалическим анлаутом. Впрочем, с учётом типологии языковых контактов и этноязыковой динамики в Волго-Камском регионе в историческое время заимствование такого абстрактного понятия из субстратных языков выглядит очень сомнительно: все остальные надёжные

⁸ О предложенном в Лыткин, Гуляев 1975: 42 неудачном сравнении коми слова с лугово-восточным марийским именем (диал.) *üšär* ‘непроизводительный труд, напрасная надежда’ (Ўпымарий 1926: 235) и глаголом *üšäryä-* ‘стать вялым’ см. упомянутый пассаж в работе М. Гайслера.

заимствования из пермской и марийской ветвей в чувашский имеют явно субстратную семантику (термины природного окружения, названия инструментов для ведения хозяйства в лесной зоне и т. п.), в то время как для многочисленных синонимов чув. *vâj* может быть продемонстрировано, наоборот, суперстратное происхождение (ср. *xâ°vat*, *xal*, *xaval* и т. д. — татаризмы в конечном счёте арабского происхождения). Заметим также, что неогубленный *â* в чув. *vâj*, восстанавливаемый по данным различающих качество редуцированного диалектных словарей и старописьменных источников, может быть вторичным развитием из огубленного *â°* в позиции перед *j*; ср. результат того же процесса в чув. *vâjâ* ‘игра’ (< ПТ **ojin*). В связи с этим ср. старую этимологию чувашского слова, а именно возведение его к ПТ **и*- ‘мочь’ (> др.-тюрк. *и*- и т. д., см. Benzing 1959: 707; VEWT: 510). Семантически выведение чувашской ‘силы’ из некоторого предкового ‘*умения, способности’ вполне правдоподобно, но словообразовательная модель остаётся неясной; по крайней мере о продуктивном характере аффиксации типа **и*-*δ*, **и*-*j* речь идти не может. На этом фоне, вероятно, стоит обратиться к ещё одной возможности этимологизации чув. *vâj*, которая опирается на то обстоятельство, что основа чувашского слова *vîl’âx*, (диал.: СЗ) *vol’âx*, *vol’âk* ‘скотина’, являющегося прозрачным стяжением из **vâj-lâx*, с одной стороны, может быть отождествлена с *vâj* ‘сила’ (ЭСЧЯ 1: 135), а с другой стороны, признаётся в Мудрак 1993: 47; СИГТЯ 2006: 35, 173 соответствием УТ **иδ* ~ **од* ‘бык’ (ЭСТЯ 1: 572–573). Полагаю, возможно объединить эти соображения, возводя чув. *vâj* ‘сила’ к предковому **oj* < **од* ‘тягловой скот, тяговая сила’. Итак, для некоторого раннего волжско-булгарского состояния в принципе мыслимо восстанавливать форму типа **oj-sâr* ‘бессильный’; при её заимствовании в прапермский гласный первого слога адаптировался бы как **о* и далее регулярно развивался бы в **и* > *и* (Савельев 2025: 160). В связи с упрощением предкового **-js-* в коми *-s-* М. Гайслер приводит исконные коми основы, в которых ПУ **-j-* выпадает в позиции перед согласным. Таким образом, болгаро-пермское сравнение проблемно семантически и почти идеально фонетически, но всё же его трудно принять безоговорочно ввиду того, что после отказа от раннебулгарских этимологий для удм. *uśse* ‘послезавтра’ и *ara(l)-* ‘жать хлеба’ данное слово остаётся единственным правдоподобным примером болгаризма в пермских, отражающего стадию до **w*-протезы.

Попытка обобщить рассмотренные — очень немногочисленные — примеры наталкивается на некоторые трудности. Вообще говоря, чувашская форма, послужившая источником удм. *vête* ‘помочь’, как и другие тюркские формы облика *ötä* ~ *ytä*, вполне может объясняться как заимствование из среднемонгольского рефлекса монг. **öte* ‘помощь’. Заметим, что такая возможность в литературе обычно не рассматривается; в WOT I: 320–324 только сибирско-тюркские формы считаются монголизмами, а остальной тюркский материал возводится к ПТ **ïp* ‘звук, голос’, что очень неочевидно. Если чувашское слово является монголизмом, несколько проблематично то, что датировать **w*-протезу на **ö-* в таком случае приходится очень узким промежутком в XIII в. (после монгольского завоевания Волжской Булгарии в 1230-х гг., которое создало условия для проникновения монголизмов в языки Волго-Камского региона, и до конца XIII — начала XIV вв., когда **w*-протеза уже надёжно отражается в памятниках волжско-булгарской эпиграфики). Такая датировка вступает в противоречие с анализом коми *vid-* ‘ругать’ как раннего волжско-булгарского (древнечувашского) заимствования; впрочем, эта последняя основа ввиду её краткости и неточного семантического совпадения с булгарским материалом (в чувашском — ‘просить, умолять’, в достоверных чувашизмах марийского языка — ‘доносить, докладывать’, ‘жаловаться, выражать недовольствие’) принадлежит

к числу менее надёжных случаев из представленного в Савельев 2025: 149–154 списка древнечуваших заимствований в прапермском — здесь нельзя исключать и возможность случайного сходства. Что касается пермских слов, которые ранее предлагалось считать булгаризмами, не отражающими **w*-протезу, то болгарские этимологии удм. *uśse* ‘послезавтра’ и *ara(l)-* ‘жать (хлеба)’, как показано выше, нельзя считать обоснованными. При этом коми *usur* ‘бессильный’ как будто действительно может быть заимствованием из некоторой ранней болгарской стадии, где **w*-протеза ещё не развилась, но изолированность этого случая не позволяет считать такую стратификацию надёжной.

Вокализм (дополнительные критерии)

(xix) Как было показано в Савельев 2025: 156, 160, рефлекс ПТ **a*, **ā* (далее обобщённо **A*) в древнечуваших должен восстанавливаться как **ŷ* — напряжённый неогубленный заднерядный гласный верхне-среднего подъёма. В рамках ранних болгаро-пермских контактов этот гласный адаптировался в прапермском как **o*, после чего промежуточный ППерм **o* любого происхождения переходил в **u*. Качество др.-чув. **ŷ* сохранялось при переходе к среднечуваших этапу, и при контактах послемонгольского времени ср.-чув. **ŷ* адаптировался как удм. **ŕ⁹* (> *ɛ* ~ *ɛ^o* ~ *ö* ~ *ô* ~ *o* по говорам, см. об этом ряде соответствий Кельмаков 1998: 55–56). Ср. следующие формы.

- Удм. (диал.) *şel, söw* ‘здоровый’ ← ср.-чув. **sŷwâ* (чув. *şivâ* ‘тж.’) < ПТ **saɣa*, откуда и тат. *saw* ‘тж.’. Также в удмуртском отражается производное абстрактное имя: удм. (диал.) *sellik, söwlik* ‘здоровье’ ← ср.-чув. **sŷw(â)-lâx* (чув. *şivlâx* ‘тж.’) < ПТ **saɣa-luqa*, откуда и тат. *sawlâq* ‘тж.’. Наконец, в удмуртский было заимствовано чувашское каритивное образование от той же основы: удм. *şesir*, (бес.) *şesâr* ‘калека’ ← ср.-чув. **sŷwâ-sâr* букв. ‘нездоровый’ (чув. *şivzâr, sûzâr* ‘калека, больной, раненый’) < ПТ **saɣa-sul*, откуда и тат. *sawsâz* ‘больной’. Ср. Wichmann 1903: 92–93.
- Удм. *şelik*, (бес.) *şelâk* ‘трех’ ← ср.-чув. **sŷw-lâx* (чув. *şilâx*, диал. *şivlâx* ‘тж.’) из **sŷw* < ПТ **jaß-* ‘плохой’. В узкотюркской ветви эта основа отражается в различных производных (**jaß-iz*, **jaß-ɣan*, **jaß-an* > **jam-an*). Не имеет к ней отношения чув. *jabâx* ‘плохой; худой, тощий’, заимствованное из тат. *jab-âq* ‘худой, тощий’ < ПТ **jap-* ‘делать низким, придавливать, подавлять’. Из ср.-чув. **sŷw-lâx* заимствовано также мар. **sûwlâk* ‘трех’. Ср. Wichmann 1903: 99.
- Ср. аналогичное развитие в чувашизме арабского происхождения: удм. (диал.) *kerś, kôrs* ‘подать’ ← ср.-чув. **xŷr(â)ś* (чув. *xirzâ*, диал. *xirâś* ‘тж.’), дальнейшие детали представлены под критерием (xvi).

Для сравнения рефлексом **A* в татарском является *a* [*ā*], который в раннем слое заимствований в удмуртский адаптировался как **â* > удм. *u* (см. об этом критерий xxiii), а в поздних отражается тривиально как удм. *a*.

⁹ Такая реконструкция предварительно принимается здесь вслед за Itkonen 1970: 264; Róna-Tas 1988: 762–763. В первой части исследования праудмуртский гласный, реконструируемый для этого ряда соответствий, цитировался как **ɛ*, однако реконструкция **ŕ⁹* значительно лучше объясняет тот факт, что при помощи этого гласного адаптировался не только ср.-чув. **ŷ*, но и ср.-чув. **ö* (см. ниже критерий xx). В связи с этим пассаж «В послемонгольских чувашизмах удмуртского языка в качестве отражения **ŷ* находим артикуляционно близкий **ɛ*» из первой части исследования (Савельев 2025: 156) должен быть скорректирован следующим образом: «В послемонгольских чувашизмах удмуртского языка в качестве отражения **ŷ* находим артикуляционно близкий **ŕ⁹*».

(хх) В Савельев 2025: 156, 160 также показано, что др.-чув. **ö* (< ПТ **ö*, **ō*) в рамках ранних болгаро-пермских контактов адаптировался в прапермском как **o*, после чего промежуточный ППерм **o* любого происхождения переходил в **u*. Качество др.-чув. **ö* сохранялось при переходе к среднечувашизмовскому этапу, и при контактах послемонгольского времени ср.-чув. **ö* адаптировался, как и ср.-чув. **ŷ*, при помощи удм. **ȫ*. Помимо упомянутых выше (см. критерий хvi) случаев удм. *bęci*, (диал.) *böci* и т. п. ‘жук; личинка овода’ ← ср.-чув. **bö(j)ci(j)* и удм. *ček*, (диал.) *ček*, *čök* ‘вот тебе [жертва]!’ ← ср.-чув. **čök*, ср. аналогичную адаптацию в следующем монголизме: удм. *bed’ono*, (диал.) *böd’ono*, *bod’ono* и т. п. ‘перепёлка’ ← ср.-чув. **bödänä* (чув. *püdänä*, диал. *pod’ana* и т. п. ‘тж.’) ← ср.-монг. *bödene* → тат. *büdänä* ‘тж.’. Уже Ю. Вихманн (Wichmann 1903: 47–48) предпочитал для удмуртского слова чувашский источник, указывая на характерное для чувашизмов междиалектное соответствие удмуртских гласных (*e* ~ *ö* ~ *o*), в то время как в заимствованиях из татарского, отражающих старое **ö*, в удмуртском наблюдается иное междиалектное соответствие: *u* ~ *ü* ~ *e* ~ *ö* (см. представительное число примеров в Wichmann 1915: 37–38). При этом замечание Ю. Вихманна о том, что при заимствовании ‘перепёлки’ из чувашского более ожидаем был бы -и- в первом слоге, исходит из ошибочного предположения о первичности заднерядных форм в чувашском. Реально ср.-чув. **ö* лобовым образом отражает качество монгольского оригинала. В Róna-Tas 1988: 762–763 для монголизма в чувашском предполагается татарское посредство; это допустимо, но вовсе не обязательно.

(хxi*) ПТ **e*, **ē* (далее обобщённо **E*) > др.-чув., ср.-чув. **ä* [→ удм., коми **ä* > *a*] > чув. *a*. Критерий болгаризмов № 2 по Ю. Вихманну (Wichmann 1903: 2) и А. Рона-Ташу (Róna-Tas 1988: 763). В татарском в общем случае **E* > *i*, но в особых случаях — *ä*, так что использование этого критерия для разграничения болгаризмов и кыпчакизмов требует осторожности (поэтому номер критерия даётся под звёздочкой). Ср. случаи типа ПТ **teke* ‘баран’ > др.-чув. **täkä* > ср.-чув. **täkä* ~ **tägä* > чув. *taga* ‘тж.’, но также и тат. *täkä* ‘тж.’. Надёжным заимствованием из среднечувашизмовского является мар. **tägä* ‘баран, козёл’; из того же источника, судя по всему, удм. (диал.) *taga* ‘тж.’. При этом источником удм. *taka*, (бес.) *t’aka* формально может быть как чувашский в стадии до озвончения интервокальных шумных, так и татарский. Такое же удмуртско-бесермянское соответствие *t’- ~ t-* находим в удм. (диал.) *tanka* ‘рубль; монета’, (бес.) *t’an’ka* ‘старинная монета’, что является заимствованием из тат. *tänkä* ‘монета; рубль’ напрямую либо через посредство ср.-чув. **tänkä* (> чув. *tängä* ‘серебряная монета; рубль’ с редукцией гласного второго слога). Поскольку данными примерами список возможных среднечувашизмовских заимствований в удмуртский с начальным **tä-*, по-видимому, ограничивается, точнее определить источник этих слов затруднительно.

Природа *ä* первого слога в татарском дискуссионна. Хотя некоторые слова с *ä* в соответствии с ПТ **E* могут быть болгаро-чувашизмовскими заимствованиями, таких случаев в татарском, пожалуй, слишком много, чтобы возможно было целиком объяснить их чувашским влиянием. О. А. Мудрак одним из основных источников тат. *ä* предлагает считать **E* в позиции перед кыпч. **ö* второго слога (Мудрак, Хисамитдинова 2018: 101–105).

Отдельную проблему составляет интерпретация примеров, где колебание *i* ~ *ä* в соответствии с **E* наблюдается уже внутри массива поволжско-кыпчакских диалектов, причём в литературе из-за опоры только на варианты с *i* (часто представленные и в стандартном татарском) соответствующие удмуртские формы с **ä* > *a* интерпретируются как несомненные чувашизмы. Ср. удм. *kaban* ‘стог сена’, (бес.) *kaban* ‘скирда’ при чув. *kaban* ‘стог; скирда’ < ср.-чув. **käbän* < ПТ **kEpön* (?), откуда и тат. *kibän* ‘стог’. Удмуртское слово традиционно считается чувашским по происхождению (Wichmann 1903: 66–67; Róna-Tas 1988: 763); ср., однако, татарский диалектный вариант *käbän* (находящий параллель и в

башк. *käbän* ‘тж.’) и распространение его по татарским говорам: мензелинский, бирский, пермский, (!) глазовский (ТТДС 1969: 266). Таким образом, формально удмуртское слово можно было бы возводить и к чепецко-татарскому источнику. Но в целом чувашская этимология выглядит всё же предпочтительнее, учитывая более широкий ареальный контекст: из среднечувашского заимствовано мар. **käbän* ‘стог, кладь, скирда’; кроме того, в вятских говорах русского языка известно (по Далю) *каб́ан* ‘стог, скирда, кладь продолговатой кладки’, которое Ю. Вихманн, а вслед за ним и М. Фасмер (ЭСРЯ II: 149) также считали чувашизмом (возможно, проникшим в русский через удмуртское посредство). Историко-культурные соображения указывают скорее на чувашское заимствование в удмуртском (булгаро-чувашский является более вероятным источником удмуртской земледельческой лексики, чем татарский).

(ххii**) Как показано в Савельев 2025: 159, др.-чув. **ü, *u* (< ПТ **ü, *ǖ, *u, *ū*) в рамках ранних булгаро-пермских контактов адаптировались в прапермском как **u*, после чего промежуточный ППерм **u* любого происхождения переходил в **j*. Далее в волжско-булгарском ареале др.-чув. **ü, *u*, а в части контекстов и огубленные гласные среднего подъёма развивались в ср.-чув. **y, *v*¹⁰, которые при контактах послемонгольского времени адаптировались в удмуртском как *u*, (бес.) *u* ~ *ä* (с пока не вполне ясным распределением). Аналогичным образом удмуртский адаптировал и поволжско-кыпчакские **y, *v* (> тат. *ö, ö̈*), так что сам по себе этот критерий не может использоваться для разграничения чувашских и ранних татарских заимствований (даю его номер под двумя звёздочками). Впрочем, чувашское происхождение в таких случаях нередко может быть установлено по дополнительным признакам (например, если слово вовсе не представлено в татарском). Ср. следующие этимологии.

- Удм. (+бес.) *buko* ‘дуга’ ← ср.-чув. **bykä* (чув. *pə°gə°* ‘тж.’), производное от **byk-* (чув. *pə°k-* ‘гнуть’) < ПТ **bük-*. Хотя производящий глагол представлен и в тат. *bök-* ‘гнуть’, аналогичное отглагольное имя в поволжско-кыпчакском, по-видимому, отсутствует. В Wichmann 1903: 48 среди тюркских девербативов такого облика приводится, помимо чувашского, только осм. *bükü, buki* ‘biegung, krümmung’. Из чувашского источника также мар. **pǖgə* ‘дуга’. Ср. ЭСЧЯ 1: 418.
- Удм. (диал.) *surem* в составе *surem šukkon* ‘битьё *сурем* — название обряда, когда молодые люди объезжали все дворы, изгоняя палками из деревни зло, болезни и несчастья’ ← ср.-чув. **syräm ~ *syrän* (чув. *sə°räm, sə°rän* ‘обряд изгнания нечисти’), производное от **syr-* ‘гнать’ < ПТ **sür-* > тат. *sör-* ‘тж.’. В современном чувашском чистая глагольная основа не сохранилась, при этом предковое др.-чув. **sür-* было заимствовано в ППерм **sür-* > **zir-* ‘гнать’ (Савельев 2025: 154). Из чувашского заимствованы также тат. *sörän* в составе *sörän su̇yü* ‘битьё *sörän*’ ~ *sörän çabû* ‘скачки *sörän*’ (Напольских 2021: 41, 47, 50–51), мар. **syrem* ‘праздник в июле с жертвоприношением богам и затем изгнанием злых духов’.
- Удм. (диал.) *tuluk*, (вторично) *tulup* ‘сирота’ ← ср.-чув. **tolâx* (чув. *tə°lâ°x* ‘сирота; вдовый’) < ПТ **dulq*, откуда и тат. *töl* ‘вдовый’. Несомненно из чувашского по отражению ПТ **-lq* > *-lâx* (Савельев 2025: 145).

¹⁰ Рефлексы пратюркских узких гласных в среднечувашском реконструируются как ненапряженные (расслабленные) гласные верхне-среднего подъёма **i, *y, *ȳ, *v* исходя из того, что, во-первых, в современном чувашском их продолжения реализуются как редуцированные гласные (в верховом и средненизовом диалектах с сохранением противопоставления не только по ряду, но и по огубленности: *ä, â, ə°, â°*), а во-вторых, такое же качество восстанавливается для субституций этих среднечувашских гласных при заимствовании в общемарийский.

- Удм. (+бес.) *итож* ‘хороший, правильный’ ← ср.-чув. **utaj* (чув. *taj* ‘лад, порядок, толк’) < ПТ **oŋaj* > тат. *иҗә* ‘удобный, хороший; лад’. Несомненно из чувашского по отражению ПТ **ŋ* > *m*; дальнейшие детали этимологии см. в Савельев 2025: 143.
- Удм. *vidor* ‘выдра’ < удм. *vi* ‘вода; водный’ + **udor* ← ср.-чув. **udâr* (чув. *âdâr* ‘выдра’). Традиционная этимология удмуртского слова — народно-этимологическая перестройка общепермского названия выдры (ср. коми *vurd*) под влиянием сложения *vi-dor* ‘берег реки’ (КЭС: 70) — выглядит крайне натянутой. Чув. *âdâr* ‘выдра; водяная крыса; хомяк; крот’ (значения распределены по диалектам), по всей видимости, отражает ранние контакты болгар с какой-то индоевропейской ветвью (ПИЕ **ud-r-o-*, **ud-r-eh₂* ‘выдра’). Из чувашского источника также мар. **udâr* ‘крот’¹¹; в татарском это слово отсутствует. Удмуртская конструкция с предполагаемым буквальным значением ‘водяная выдра’, на первый взгляд, кажется неправдоподобной ввиду избыточности определения (выдра — по умолчанию водное животное), однако все сомнения снимаются наличием точно такой же конструкции и в соседнем марийском языке: мар. (луг.) *βüδ=koma* ‘выдра’ (*βüδ* ‘вода; водный’ + *koma* ‘выдра’). По-видимому, уже для среднечувашского состояния была характерна представленная в современном чувашском полисемия, в рамках которой основой **udâr* обозначались как водные, так и наземные зверьки, и для удмуртского можно предполагать полукальку сложения типа ср.-чув. **ššw udâr-ä* букв. ‘водяной **udâr*’.
- Ср. аналогичное развитие в следующем монголизме: удм. *kudo*, (бес.) *kâdo* ‘сват; друг; обращение взрослых мужчин друг к другу’ ← ср.-чув. **xvda* (чув. *xâda* ‘сват; друг, приятель; обращение взрослых мужчин друг к другу; адвокат’) ← ср.-монг. *qida* (Róna-Tas 1988: 763) → тат. *qöda* ‘сват’. Уже в Wichmann 1903: 77–78 было справедливо отмечено, что, хотя с точки зрения фонетических субституций для удмуртского столь же успешно можно было бы предполагать татарское посредство, в своеобразной полисемии удмуртский материал полностью совпадает с чувашским, и на этом фоне именно чувашское происхождение удмуртского слова оказывается несомненным. Косвенно на это указывает и то, пишет Ю. Вихманн, что многие другие свадебные термины в удмуртском также имеют чувашское, а не татарское происхождение.

(xxiii**) Потенциально на болгаро-чуваши́х источник могут указывать также случаи, где удм. *и* соотносится с чув. (верх.) *о* ~ (низ.) *и* (либо, в особых контекстах, с *й* в обоих диалектах) в соответствии с ПТ **a*, **ā* (далее **A*). Это критерий № 1 по Ю. Вихманну и А. Рона-Ташу (Wichmann 1903: 1; Róna-Tas 1988: 763). Согласно традиционной интерпретации, в случае заимствования татарского рефлекса тех же пратюркских гласных, а именно тат. *a* [â], в удмуртском отражается *a*. Однако такой сценарий неоправданно упрощает ситуацию многослойных удмуртско-чуваши́х-татарских контактов (в связи с этим номер данного критерия даётся под тремя звёздочками). Несомненной является цепочка ПТ **A* > др.-чув. **ā* → ППерм **ā* > удм. *и*, коми *a* (Савельев 2025: 155, 159); то есть болгарский источник может считаться надёжным, если у удмуртского слова есть соот-

¹¹ Конечно, с учётом раннего индоевропейского происхождения слова заимствование именно из чувашского в финно-угорские языки Волго-Камского региона, а не наоборот, не выглядит очевидным. Однако этот случай — лишь один пример из обширного корпуса чувашско-удмуртско-марийских параллелей, где формы трёх ветвей связаны друг с другом практически лобовыми фонетическими субституциями. Во многих других таких случаях может быть легко показано, что речь идёт о параллельных заимствованиях из среднечувашского языка послемонгольского времени в ранний удмуртский и общемарийский. По аналогии (поскольку нет явных аргументов в пользу иного сценария) принимаем такую схему и при этимологии обозначения выдры.

ветствие в коми. Также несомненно, что продолжение др.-чув. **ǫ* в среднечувашском (с некоторой условностью реконструируемое как **ɔ*) адаптировалось в раннем удмуртском лобовым образом как **ǫ* (~ **ɔ*) и затем в результате регулярного сужения заднерядных широких гласных на удмуртской почве давало *и*. Однако в рамках контактов послемонгольского времени аналогичным способом могли адаптироваться и заимствования с тат. *a ~ ǎ* — частично прошедшие через чувашское посредничество (собственно, на такую возможность уже указывал А. Рона-Таш), но в части случаев, вполне вероятно, и прямые¹².

Во многих случаях с указанным развитием иные фонетические маркеры всё же позволяют говорить о чувашском источнике удмуртского слова. Ср. примеры типа удм. *bultir* ‘свояченица; вторая жена’ ← ср.-чув. **boltâr* (чув. *poldâr* ‘младший свойственник, младшая свойственница’) < ПТ **bāldi* > тат. *baldâz* ‘младшая свояченица’ (первый болгарский ротаизм = критерий i по Савельев 2025: 140–141); удм. *buśon(o)* ‘свояк’ ← ср.-чув. **bôsana* (чув. *požana* ‘тж.’) < ПТ **bāca-naq*, удм. *busj* ‘поле’ ← ср.-чув. **bôsâ* (чув. *pozâ* ‘тж.’) < ПТ **pas-u* и удм. *śulo* ‘кнут’ ← ср.-чув. **śol-a* (чув. *śola* ‘тж.’) < ПТ **cal-u* (отпадение старых ауслаутных велярных = критерий iv по Савельев 2025: 141–143, а в первом и последнем случаях также развитие **ć* > *ś*, см. критерий xvi выше); удм. *śuljĭk* ‘платок-покрывало’ ← ср.-чув. **śulwâx* (чув. *śulâk* ‘тж.’) < ПТ **jaγ-luqâ* > тат. *javlâq* ‘тж.’ и удм. *śulvor-* ‘упрашивать, умолять’ ← ср.-чув. **śolwar-* (без продолжения в современном чувашском) < ПТ **jalβar-* > тат. *jalwar-* ‘тж.’ (развитие ПТ **j-* = критерий vi по Савельев 2025: 143–144); удм. *jum* ‘исцеление, лекарство’ ← ср.-чув. **jŏm* (чув. *jom* ‘колдовство; лекарство’) < ПТ **Kĭam* (сохранение глайдового элемента в старом восходящем дифтонге = критерий xiv по Савельев 2025: 146); удм. *turto* ‘оглобля’ (эквивалент в татарском тоже является болгаро-чувашским заимствованием, см. выше сноску 6) и *tužko* ‘кочерга’ (вторая болгарская палатализация, см. выше критерий xvii); удм. *burtĭcin* ‘шѐлк’ (в поволжско-кыпчакском основа отсутствует, см. секцию 2 ниже); удм. *śurlo* ‘серп’ (развитие **ć* > *ś* на фоне отсутствия основы в поволжско-кыпчакском, см. секцию 2 ниже) и т. д.

С другой стороны, ср. следующие тюркизмы послемонгольского времени в удмуртском языке, в случае которых однозначно определить источник как татарский или чувашский не удаётся: удм. (диал.) *kulĭm* ‘выкуп за невесту’ ← тат. *qalĭm* ‘тж.’ либо ср.-чув. **xolĭm* (чув. *xolĭm* ‘тж.’) (ср. новый татаризм в удмуртском *kalĭm* ‘тж.’); удм. (диал.) *kurok* ‘разбойник, вор’ ← тат. *qaraq* ‘тж.’ либо ср.-чув. **xŏrax* (чув. *xorax* ‘тж.’); удм. *kuromo* ‘вяз; вязка (копыльев саней, салазок)’ ← тат. *qarama* ‘тж.’ либо ср.-чув. **xŏrama* (чув. *xorama* ‘тж.’); удм. (диал.) *uslom* ‘польза, прибыль, выгода’ ← тат. *aslam* ‘торговля наездом; барыш, процент’ либо ср.-чув. **ɔslam* (чув. *oslam* ‘прибыль, барыш’). Эти и подобные им примеры рассматриваются в Wichmann 1903 как надёжные чувашизмы, при этом в позднейшей литературе (ср. Напольских 2018: 82, 510) уже высказывалась мысль о допустимости в таких случаях и татарской этимологии. Важно, что во всех приведённых примерах чувашские параллели сами могут быть ранними татаризмами. А в следующих случаях кыпчакское происхождение чувашского слова и вовсе не вызывает сомнения, и вопрос лишь в том, предполагать ли в удмуртском прямой татаризм или прошедший через чувашское посредство: удм. *bukro* ‘куколь’ ← [ср.-чув. **bŏxra* (чув. *poxra*, *pokra* ‘тж.’) ←] тат. *baqra* ‘тж.’, производное от *baqâr* ‘медь, медный’ (по окраске цветков куколя); удм. (диал.) *sundĭk*

¹² Ареально-типологической параллелью здесь может служить контактная ситуация, в которой оказался в послемонгольское время марийский язык (географически прилегавший к удмуртскому). В корпусе общемарийской лексики кыпчакского происхождения надёжно выделяются как прямые татаризмы, так и несущие в себе очевидные признаки чувашского посредничества. В частности, это противопоставление отчётливо наблюдается при адаптации гласных типа *o*: тат. **o* → мар. **ô* (**jôrtâ* ‘бежать рысью’), в то время как тат. **o* → ср.-чув. **o* (~ **ɔ*) → мар. **ɔ* (**joltaš* ‘товарищ; попутчик’).

‘сундук’ ← [ср.-чув. **sɔndâx* (чув. *sondâx* ‘тж.’) ←] тат. *sandâq* ‘тж.’ (ср. Räsänen 1920: 196); удм. *Kizon* ‘Казань’ ← [ср.-чув. **Xɔzan* (чув. *Xozan* ‘тж.’) ←] тат. *Qazan* ‘тж.’ (ср. Räsänen 1920: 173).

Таким образом, следует полагать, что удм. *и* появляется в качестве опосредованного продолжения ПТ *А в старозаимствованной лексике как чувашского, так и татарского происхождения в результате более общего процесса сужения раннего **â* (~ **ɔ*) на удмуртской почве. Утверждение о субституции тат. *а* ~ *â* → удм. *а* верно только в отношении более поздних татаризмов (очевидно, уже не попадавших под действие указанного сужения). Отметим, что такая картина находит точную параллель в стратификации кыпчакизмов чувашского языка, где, как видно из примеров выше, старые татарские заимствования также были охвачены процессом сужения ср.-чув. **ɔ* (> верх. *о*, низ. *и*; последнее развитие аналогично удмуртскому и может составлять вместе с ним единую ареальную изоглоссу), в то время как в новых заимствованиях тат. *а* ~ *â* → чув. *а*.

2. Обновление заимствований в болгаро-пермской контактной зоне

Итак, в корпусе болгаризмов пермских языков надёжно выделяются два наиболее отчётливо контрастирующих друг с другом пласта: датируемые VIII–IX вв. древнечуваши́е заимствования в прапермский язык (несколько десятков; Савельев 2025: 160–161) и предварительно датируемые XIV–XV вв. среднечуваши́е заимствования в удмуртский (многочисленные примеры даны выше; общее их число во всяком случае превышает сотню). На этом фоне необходимо обратиться к проблеме обновления заимствований в рамках болгаро-пермских контактов. Речь идёт о таких случаях, когда ранний болгаризм после распада прапермского сохраняется в одном пермском языке, но замещается более новым заимствованием в другом. Если архаизм представлен в коми, то в удмуртском наблюдаем, как правило, замещение за счёт среднечуваши́ей лексики, ср. следующие этимологии.

- Коми *čarla* ‘серп’ < ППерм **čarla* ← др.-чув. **čarla* < булг. **čarla-γ*, производное от **čarla* ‘точить’ (в других тюркских языках такое название серпа не представлено). Удм. (+бес.) *šurlo* ‘серп’ отражает более новое заимствование из ср.-чув. **šorla* (чув. *šorla* ‘тж.’). В КЭСК: 302 удмуртская и коми формы верно выводятся из чувашского источника, но при этом ошибочно обе возведены к общепермскому состоянию. В Róna-Tas 1988: 761 несоответствие между коми и удмуртским начальным согласным объясняется междialeктным соответствием **čarla* ~ **šarla* уже на древнечуваши́ем уровне. Предлагаемая здесь схема с обновлением заимствования в удмуртском более экономна, поскольку оперирует двумя пластами болгаризмов в пермских, существование каждого из которых не вызывает сомнений. Из среднечуваши́его источника заимствовано также мар. **šorla* ‘серп’. Ср. Wichmann 1903: 102–103.
- Коми *bjd-m-* ‘расти, вырастать’, *bjd-t-* ‘растить’ < ППерм **bjd-* < **bud-* ← др.-чув. **büt-* ‘расти, вырастать’. В удм. *bud-* ‘расти’ отражается более новое заимствование из ср.-чув. **byt-* (в такой семантике — без продолжения в современном чувашском). В КЭСК: 44 критикуется мнение Wichmann 1903: 45, согласно которому это слово этимологически тождественно ППерм **bjd-* < **bud-* ‘кончатся’ (← др.-чув. **büt-* ‘тж.’, см. Савельев 2025: 151). В ЭСТЯ 2: 152–155 тюркские формы типа *büt-* ~ *bit-* со значениями типа ‘кончатся’ и ‘вырастать’ возводятся к двум разным этимонам (и возможная связь между ними даже не обсуждается), а в EDAL: 957 считаются одним. В общем обе группы значений вполне сводятся к ПТ **büt-* ‘быть законченным, завершённым’, так что в конечном счё-

те, пожалуй, речь действительно идёт о единой этимологии. Однако, поскольку две группы значений рано разошлись, можно предполагать, что ко времени болгаро-пермских контактов **bü̯t-* ‘кончаться’ и **bü̯t-* ‘расти, вырастать’ сосуществовали в древнечувашиском как отдельные слова без осознаваемой взаимосвязи. Ввиду того, что прапермская и удмуртская форма в разные периоды были заимствованы из болгаро-чувашиского именно в значении ‘расти’, очень вероятно, что и в болгаро-чувашиском VIII–XV вв. это слово функционировало как основной глагол с такой семантикой. У рефлекса ПТ **ōn-* ‘расти’ в чувашском (*â°n-*) документированы только значения типа ‘удаваться, спориться’ и ‘хорошо уродиться (о хлебе и т. п.), быть обильным (об урожае)’, в то время как современное чув. *ü̯s-* ‘расти’, по-видимому, заимствовано из тат. **ös-* > *ü̯s-* ‘тж.’ (Мудрак 1993: 55) и в конечном счёте имеет, возможно, монгольское происхождение (EDT: 241, 251).

- Коми *t̥il̥im* ‘волокно, прядь волокна; былинка (о сене); клок’, (диал.) ‘прядь из пеньки (при витье дратвы)’, (диал.) *t̥ile̯m* ‘прядь (верёвки, косы)’ < ППЕРМ **t̥il̥im* < **tul̥im* ← др.-чув. **tul̥âm* ‘прядь, клок’ < ПТ **tul̥u̯ŋ* ‘виски; волосы на висках’ (Дыбо 2013: 325–326). В удм. *tulm-et* ‘третья прядь (в верёвке)’, *tulm-a(l)-* ‘ввить третью прядь (в верёвку); вбить клин’ отражается более новое заимствование из ср.-чув. **tul̥âm* (чув. *t̥â°l̥âm*, низ. *t̥âl̥âm* ‘прядь, клочок шерсти, оставленный на спине овцы при стрижке, чтобы по нему узнавать её в стаде’). При этом значение ‘вбить клин’ у глагола *tulm-a(l)-* можно объяснять контаминацией с удм. *tul* ‘клин’. Ср. тат. *töl̥öm* ‘коса’, (диал.) (ТТЗДС: 670) *t̥âl̥âm* ‘женское украшение для волос’ — по-видимому, исконное продолжение приведённой пратюркской основы, но (диал.: камско-устыинский говор) *t̥âl̥âm* ‘прядь, клок’, судя по семантике и распространению (на Горной стороне близ границы с ареалом буинско-тетюшских чувашей), является заимствованием из низовой чувашской формы. Из чувашского заимствовано также мар. (горн.) *t̥âl̥âm* ‘клок нестриженной шерсти на овце (оставленный как примета)’. Ср. КЭС: 293; Лыткин 1967: 135–136¹³.
- К поверхностному соответствию коми *j* ~ удм. *u* как маркеру сохранения древнечувашиского заимствования в коми и замещения его среднечувашиским заимствованием в удмуртском ср. также рассмотренный выше (секция 1, критерий ххii) случай коми *z̥j̥r-* ‘гнать’ ~ удм. *sure̯m* ‘изгнание’ (но здесь речь не идёт о повторном заимствовании глагольной основы; глагол ‘гнать’ в удмуртском замещался за счёт инноваций на собственной почве).

С другой стороны, в следующих случаях удмуртское слово выглядит как прапермский архаизм, в то время как в коми представлены замещающие старое слово заимствования из русского языка (а в первом случае — ещё и внутренняя инновация, обусловленная сдвигом семантики иной общепермской основы).

¹³ Заимствование из древнечувашиского в прапермский в принципе может быть поставлено под сомнение с учётом возможных возражений против исконности чувашского слова. Действительно, в заднерядных контекстах, восходящих к ПТ **-VIUN* (где *U* – узкий гласный, а *N* – носовой), плавный сонант в чувашском может выпадать, ср. в особенности квазиминимальную пару к случаю ‘пряди’: ПТ **quluN* ‘жеребёнок’ > чув. *x̣â°m* ‘плод, зародыш (у лошади)’. Однако ср., с другой стороны, и примеры типа чув. *sol̥âm* ~ УТ **jal̥iN* ‘пламя’ и т.п. По мнению А. В. Дыбо (личное сообщение), устранение **l* в подобных случаях может быть объяснено последовательностью закономерного выпадения узкого гласного во втором слоге основы в посессивных контекстах (**-VIUN* > **-VINi*), упрощения **lN* > *N* (ср. примеры типа ПТ **jal̥ŋuq* > чув. *ṣ̌j̣ṇâ* ‘человек’) и аналогического распространения данного развития на непосессивные контексты. Однако в таком случае речь идёт о феномене парадигматического выравнивания, по умолчанию не предполагающего регулярности, так что считать отражение *-l-* в таких чувашских основах аргументом против их исконности нет оснований.

- Удм. *burtćin* ‘шёлк’ < ППерм **bār(t)ćin* ← др.-чув. **bārcān* < ПТ **bārcun* (в конечном счёте иранского происхождения). Далее в волжско-булгарском ареале ср.-чув. **borsān* > чув. *poržān* ‘тж.’. Булгаро-чуваши́хское происхождение удмуртского слова было принято уже в Wichmann 1903: 49–50; при этом была отмечена и нетривиальность удмуртской аффрикаты (вместо ожидаемого сибиллянта *ś*; см. секцию 1, критерий xvi). Сам Ю. Вихманн полагал, что удм. *burtćin* заимствовано из недокументированного собственно чувашского диалекта, сохранявшего *-ć-*. Однако никаких спекулятивных допущений не требуется, если предположить заимствование из раннего волжско-булгарского (древнечуваши́хского) источника (где ПТ **ć* сохранялся, см. Савельев 2025: 158) в прапермский, а после распада праязыка — закономерное развитие этого слова на удмуртской почве и замещение его иными основами в коми. Ср., во-первых, коми *jermeg* ‘шёлк’, которое, как указывает В. В. Напольских (личное сообщение), следует сравнивать с удм. *jurmeg* ‘ласка, горноста́й’. В таком случае для коми обозначения шёлка можно восстанавливать старую семантику типа ‘*горноста́й (мех)’. Во-вторых, в коми имеется и слово *ševk* ← рус. *шёлк*. Булгаризм в удмуртском в любом случае несомненен, поскольку рефлекс ПТ **bārcun*, хотя и известен в различных древне- и среднетюркских памятниках, в поволжско-кыпчакских языках отсутствуют (тем более не обоснована идентификация чувашского слова как кыпчакизма в СИГТЯ 2006: 45). Из среднечуваши́хского источника заимствовано мар. **poršān* ‘шёлк’.
- Удм. *keć* ‘коза’ < ППерм **keć* (в реконструкции В. И. Лыткина) / **keć* (в реконструкции В. В. Понарядова) < **ke/ęci* ‘коза’ ← др.-чув. **keci* ~ **keća* < ПТ **geci* ~ **geća* ‘тж.’. В коми коза обозначается русским заимствованием *keza*. В волжско-булгарском ареале др.-чув. **keci* > ср.-чув. **kāća* > чув. *kaž-aga* ‘коза’, в то время как др.-чув. **keća* > ср.-чув. **kāša* > чув. *kaś=taga* ‘козёл’; последний вариант основы зафиксирован также в старописьменном чув. (XVIII в., словарь Миллера; см. Савельев 2023: 31–32) *«Káfa»* ‘Ziege = коза’, где отражается вариант типа **kažā*, а также как среднечуваши́хское заимствование в мар. **kāša* ‘коза’. Булгаро-чуваши́хское происхождение удм. *keć* широко принимается (ср. Wichmann 1903: 73; Rédei, Róna-Tas 1983: 24); восходящая к Munkácsi 1883: 82 альтернативная этимология, усматривающая здесь отражение тат. *kāžā* ‘коза’, не выдерживает критики: как показано уже Ю. Вихманном, в таком случае в удмуртском ожидалась бы форма типа **kaza*. При этом удм. *keć* ‘коза’ очень трудно отделять в этимологическом отношении от коми *keć* ‘заяц’: соответствие удм. *e* ~ коми *ę* в пермистике хорошо известно (Лыткин 1964: 153–162; Понарядов 2014: 18–19), а с точки зрения семантики связующим звеном является удмуртское сложение *lud=keć* ‘заяц’, букв. ‘полевая/дикая коза’ (удм. диал. *keć* ‘заяц’, известное в кукморских говорах, может быть результатом эллипсиса этого сочетания). Таким образом, данная основа правдоподобно выводится на прапермский уровень, но остаётся вопрос относительно её исходной семантики. Основанная на сопоставлении с лив. *kōps* ‘заяц’ точка зрения, согласно которой в коми слове находит продолжение старое пермское название зайца (см. Viitso 1993: 89–91; Напольских 2018: 503), не может быть принята, поскольку: (а) коми *ę* в соответствии с удм. *e* в исконной лексике продолжает ПУ **ä*, что несовместимо с ливским вокализмом; (b) ливское название зайца предпочтительнее считать локальной инновацией, связывая его с эстонскими экспрессивными глаголами *kapsata* ‘прыгнуть (в т.ч. о зайце)’ ~ *kepselda*, *kepsutada* ‘скакать, резвиться (в т.ч. о зайце)’ ~ *kopsata* ‘ударить’ ~ *kōpsutada* ‘производить стучащие звуки при ходьбе и т. п.’, ср. также эст. *kōps* как именное обозначение подобных звуков (возможность объяснения ливского слова на такой почве допускал и сам Т.-Р. Виитсо); (с) значительно более подходящим кандидатом на роль архаичного пермского обозначения зайца является ППерм **nimVI* > к.-язв. *nimel* ‘заяц’,

имеющее надёжные уральские истоки (ПУ **ńoma-la* ‘тж.’; Zhivlov 2023: 162). Интересную ареальную параллель составляет тат. (диал.) *qâr-taj* ‘заяц’, где *qâr* ‘поле(вой)»; дикий’ функционально тождественно удм. *lud* в составе *lud=keć* ‘заяц’, а *taj* имеет значение ‘жеребёнок’. Данный прецедент осмысления зайца как дикой формы некоторого домашнего копытного (склонного прыгать, резвиться и т. п.) является дополнительным аргументом в пользу первичности значения ‘коза’ у рассматриваемого пермского слова. Таким образом, если именно это значение реконструируется для прапермского состояния, то коми значение ‘заяц’ следует объяснять постпрапермским семантическим сдвигом. По всей видимости, на фоне этого сдвига в коми и возникла необходимость вновь заимствовать название козы, на этот раз из русского. Проблему при рассмотренном сценарии составляет только то обстоятельство, что ‘коза’ оказывается, возможно, единственным болгаризмом, где рефлекс ПТ **Е* имеет в пермских субституцию, отличную от удм. *a* ~ коми *a* (см. Савельев 2025: 154–155). Естественно, этот феномен можно связывать, например, с диалектным варьированием на древнечувашском уровне, но ввиду отсутствия хороших параллелей на такую же субституцию приходится признать *ad hoc* характер такого объяснения.¹⁴

¹⁴ С учётом сказанного требует дополнительного обсуждения предложенное в работе Напольских 2025: 144 возведение удм. *besmen* ‘межа, граница (полей, покосов); конец звена в изгороди’ к волжско-булгарскому прототипу вида **bāsmān* ‘мера веса > ? площадь поля, засеваемая определённым количеством зерна > ? границы поля’ (ср. чув. *pasman* ‘мера зерна’). В общем нельзя исключать, что удм. *besmen* является ещё одним, наряду с удм. *keć* ‘коза’, примером на удм. *e* как продолжение прапермской субституции др.-чув. (диал.) **e*, но такая интерпретация не является единственно возможной. Дело в том, что высказанные В. В. Напольских семантические и фонетические возражения против непосредственной связи удм. *besmen* с рус. *безмѣн* и чув. *pīsmān* ‘весы-безмен’, как кажется, могут быть сняты, если предполагать заимствование в удмуртский из (др.-рус. →) ср.-чув. **bešmān*. Фонетические субституции в таком случае тривиальны, а синхронное удмуртское значение, как и в первом сценарии, вполне выводимо через правдоподобную цепочку семантических изменений из значения типа ‘мера веса’ в идиоме-источнике – нужно лишь допустить, что среднечувашская полисемия была аналогична сосуществованию значений ‘мера веса’ ~ ‘род весов’ в истории русского слова (Напольских 2025: 139). Таким образом, удм. *besmen* может быть объяснено как позднее сепаратное заимствование без необходимости постулировать необычную субституцию древнечувашского гласного (ср. и отсутствие параллели в коми, что снижает вероятность прапермской древности этого слова). По фонетическим основаниям от данного этимона, судя по всему, следует отделять (признавая активную контаминацию по крайней мере в удмуртском) следующий набор форм: чув. *paśmān* – компонент топонимов (*Paśmān šjrmī* ‘овраг Пёсмен’); удм. (диал.: ю.) *biśmen*, (пер.-ю.) *bićmen* – также компонент топонимов, а в апеллятивном употреблении – слово, семантически тождественное удм. *besmen*; мар. **pīsmān* ‘межа между полосами пахоты’. Удмуртское и марийское слово являются чувашскими заимствованиями, а чувашское анализируемо как имя по продуктивной модели на **-mAn* от ср.-чув. **piś-* < ПТ **bić-* ~ **bić-* ‘(от)резать’. Кроме того, в татарском находим *paśmān* – компонент топонимов, а в апеллятивном употреблении ‘коллективный выход в начале лета на поля с ритуальными молениями’ (< метонимически из ‘участок поля; межа’; Эхмәтьянов 2015, II: 109). Формально это имя выглядит производным от татарского рефлекса (*paś-* ~ *paś-* ‘обрезать и т.п.’ с не совсем ясным – экспрессивным? – глухим *p-*) того же пратюркского глагола и является, видимо, нативизированным заимствованием / словообразовательной калькой по болгаро-чувашскому образцу. На ср.-чув. **piś-* ‘резать’, рефлекс которого в современном языке не сохранился, указывает также мар. лут. *piskē*, СЗ *piskā* ‘пила’ ← ср.-чув. **piś-kā* ‘тж.’ при чув. *pāčkā* ‘пила’ ← тат. *pāčkā* ‘тж.’. К семантической производности типа ‘участок земли’ < ‘резать’ ср. рус. *нарезать* в значении ‘размежевать участок земли’, *нарез* ‘надел, выделенный в собственность участок земли’. Аффриката *ś* в периферийно-южной удмуртской форме носит вторичный характер и потому не должна рассматриваться как отражение старого булг. **ś*. Ср. хорошее изложение синхронного материала по этому последнему набору форм, но сомнительную этимологическую интерпретацию в Culver & Metsäranta 2025: 337–341. Предлагаемые в этой работе производность от предковой формы чув. *piś-* ‘вариться, печься; калиться (на солнце); обжигаться и т.п.’ и реконструкция исходного для имени значения ‘*подсека, росчисть’ проблематичны как фонетически (соответствия гласно-

Следует подчеркнуть, что учёт феномена обновления заимствований позволяет не только адекватно разобрать ряд трудных булгаро-пермских этимологий, но и расширить представленный в Савельев 2025: 147–154 корпус вероятных древнечуваших заимствований в прапермский: к нему также могут быть отнесены ППерм **čarla* ‘сепп’, **bud-* > **bid-* ‘расти’, **tulim* > **tīlim* ‘прядь’, **bār(t)cin* ‘шёлк’, **keleci* > **keleć* ‘коза’.

3. Узколокальные зоны поздних булгаро-пермских контактов: Нижняя Вятка и Нижняя Чепца

Отдельную, до сих пор очень слабо разработанную проблему составляет возможность заимствований в уже разошедшиеся диалекты языков пермской группы из (поздне)среднечуваших состояния.

Некоторая географическая неравномерность в насыщенности удмуртских диалектов чувашизмами заметна уже по классическим материалам Б. Мункачи и Ю. Вихманна (Munkácsi 1896; Wichmann 1903). Однако текущее состояние вопроса не позволяет сделать на этом основании системные выводы: наблюдаемая картина неизбежно содержит значительный «шум», связанный, в частности, с неравномерностью самой документации удмуртских диалектов; кроме того, узколокальные чувашизмы не выделяются какими-либо фонетическими признаками на фоне несколько более ранних чувашизмов, широко распространённых в удмуртском диалектном массиве, так что поздние контакты могут быть выявлены только на основании дистрибуционного критерия. На данном этапе можно лишь выделить несколько локальных зон, где поиск поздних сепаратных чувашизмов представляется особенно перспективным.

Знаковой для этого направления исследований является работа Напольских 2021, в которой рассматривается генезис названия весеннего обрядового комплекса удм. (диал.: завятские говоры) *akaška*, (бес.) *akajaška* и связанной с ним терминологии (удм. диал. *siret* ‘*обряд изгнания злых духов’); см. формальную сторону данных этимологий в Савельев 2025: 146 и под критерием xxii в секции 1 настоящей статьи. По реконструкции В. В. Напольских, не позднее конца XV — начала XVI в. предки бесермян заимствовали этот ритуальный комплекс и его название от чувашей, населявших правобережье Нижней Вятки, и затем перенесли его на север в низовья Чепцы, а не ранее второй половины XVI в. этот термин и видоизменённый обряд были заимствованы юго-западными (завятскими) удмуртами от того же чувашского населения или же оставшейся на Нижней Вятке части бесермян. Следует отдельно остановиться на двух аспектах указанной реконструкции.

Во-первых, принципиально важна чёткая формулировка позиции, согласно которой ещё несколько столетий назад одним из ареалов расселения чувашского народа была Арская сторона вплоть до Нижней Вятки, ср.: «...факты, свидетельствующие о присутствии в это время здесь этнической группы с чувашским языком, чувашским традиционным костюмом и комплексом весенних обрядов, происхождение которых связано в том числе и с чувашской традицией, отрицать невозможно» (Напольских 2021: 52). Факт заимствования завятскими удмуртами и бесермянами культурной лексики из языка этой группы указывает на её заметный социолингвистический вес (даже если сам по себе и не позволяет судить об абсолютной численности местного чувашского населения). При этом русские документы XVI–XVII вв. с территории Свияжского и Казанского уез-

го первого слога трудно объяснимы), так и семантически (ни чув. *píś-*, ни его когнаты в других тюркских языках не употребляются в значении типа ‘быть сожжённым, выжженным’, которое требовалось бы в качестве производящего для значения ‘подсека’).

дов содержат множество упоминаний т. н. *ясачной чюваши* в Предкамье. Согласно распространённой в татарской исторической школе трактовке, этот термин имел характер соционима, применявшегося в отношении татарских крестьян. Работа В. В. Напольских стала важной вехой в прямой критике этой концепции; развитие его аргументации с привлечением широкого круга лингвистических и исторических свидетельств см. в Савельев & Мясников 2026: 7–9, 46.

Во-вторых, предложенное объяснение бес. *akajaška* как термина, заимствованного предками бесермян на Нижней Вятке и затем перенесённого ими на Чепцу, ставит более общий вопрос о природе чувашско-бесермянских контактов. В частности, необходимо выяснить, могут ли все их лингвистические следы объясняться контактами на прежней территории расселения бесермян или же часть соответствующего материала предполагает непосредственные контакты с чувашеязычным населением уже в бассейне Чепцы.

С точки зрения письменной истории последний сценарий не лишён оснований, поскольку именно с бассейном Чепцы связаны наиболее ранние упоминания чувашей в русских документах XVI–XVII вв. (Луппов 1958; Гришкина 1988; Гришкина 1989; Мусихин 2013; Савельев & Мясников 2026: 6–7). Уже в грамотах 1510, 1522, 1546 и 1548 гг. чуваша упоминаются среди населения Чепецкого края. Особый интерес представляет грамота Ивана Грозного от 1542 г., в которой каринским князьям разрешалось призывать в свои вотчины удмуртов и *чюваши* «из казанских мест»; при этом отдельно оговорены случаи, когда удмурты и чуваша сами желали воссоединиться со своими жёнами и детьми, уже находившимися в «великого князя вотчине в полону на Вятке». Эти данные хорошо согласуются с реконструкцией позднесредневекового миграционного коридора из района Нижней Камы и Нижней Вятки на Чепцу¹⁵.

Проблема интерпретации этноязыковой реальности, стоявшей за термином *чуваши* применительно к Чепецкому краю, осложняется не вполне ясным контекстом сосуществования этого обозначения с термином *бесермяне*. В документах XVI в. с территории Вятской земли в бассейне Чепцы упоминаются только *чуваши*; с начала XVII в. появляется название *бесермяне*, после чего оба обозначения некоторое время употребляются параллельно, а в отдельных случаях — как будто взаимозаменяемо. Начиная с переписной книги 1678 г. слово *чуваши* из документов Вятской земли исчезает, и в дальнейшем в них фигурируют уже только *бесермяне*. Т. И. Тепляшина (1968: 179–181) интерпретировала эту картину таким образом, что *чуваши* до некоторых пор назывались и поныне населяющие бассейн Нижней Чепцы бесермяне. Однако проблема в действительности распадается по меньшей мере на три связанных между собой, но требующих отдельного рассмотрения вопроса. Первый касается этноязыковой принадлежности чепецкой *чюваши* письменных источников; второй — наличия чувашского субстрата в бесермянском наречии и, в случае признания такого субстрата, места его формирования; третий — возможных элементов чепецко-чувашского происхождения в наречии бесермян, а также в иных идиомах Чепецкого края и сопредельных районов бассейна Вятки.

¹⁵ Следует отметить, что маршрут, связывавший ядерные болгарские территории с бассейном Чепцы, был освоен, судя по всему, задолго до позднесредневековой миграционной волны XV–XVI вв. Болгарские укрепленные фактории существовали в этом ареале уже с IX–X вв. (Напольских 2018: 73–75, 99–100); с существованием такой фактории близ Гурьякара Т. И. Останина (2021) связывает установку здесь в 1323 г. т. н. «Гординского камня» — надгробной плиты на болгаро-чувашском языке с арабскими формульными вставками. Таким образом, к началу XIV в. бассейн Чепцы уже находился в зоне устойчивых связей с болгарской метрополией. Это обстоятельство существенно как свидетельство исторической глубины данной линии контактов, но само по себе, естественно, не указывает на прямую преемственность между болгарским присутствием на Чепце в начале XIV в. и чепецкой *чювашей* позднего Средневековья.

Что касается первого вопроса, есть серьёзные основания сомневаться в простом отождествлении чепецких *чювашей* и бесермян. Дело в том, что на протяжении письменной истории Волго-Камского региона этноним *чуваши* в целом устойчиво связан с группами, являющимися чувашеязычными или, по крайней мере, бывшими чувашеязычными в недавнем прошлом¹⁶. Собственно, на это обстоятельство уже обращал внимание В. В. Напольских (2021: 51), предполагая переселение части чувашского населения из региона Нижней Вятки — Нижней Камы вместе с предками бесермян, чепецких удмуртов и каринских татар. Ещё определённое высказывается по этому поводу С. А. Максимов (2008: 108), прямо рассматривающий историческую *чювашу* бассейна Чепцы как группу собственно чувашского населения, в конечном счёте ассимилированную бесермянами. Антропонимический материал может служить дополнительным, пусть и пока ограниченным (поскольку системная его обработка остаётся делом будущего) аргументом в пользу чувашской этноязыковой принадлежности чепецких *чювашей*. Хотя их имена, как и имена бесермян, в основном носят выраженно татарский облик (что в целом характерно для традиционного антропонимикона чувашей и наиболее тюркизированных финно-угорских народов Поволжья), некоторые из них прозрачно этимологизируются на чувашской почве и не имеют очевидных альтернативных объяснений; ср. в особенности имя *Хоза Сабетов* из переписной книги 1646 г. ~ чув. *хо́за* ‘господин, хозяин’.

Из ответа на первый вопрос следует, что идентификация чепецких *чювашей* с бесермянами была бы в принципе допустима, если предположить, что бесермяне до некоторых пор говорили на чувашском языке и лишь впоследствии были удмуртизированы. Это — гипотеза чувашского субстрата в языке и культуре бесермян — составляет суть второго вопроса. Формулировки данной гипотезы варьируются в зависимости от локализации и датировки предполагаемого субстратно-суперстратного взаимодействия. Вариант субстратной концепции, согласно которому ещё в Нижнем Прикамье некоторые «древнебулгарские» группы послужили основой для формирующегося бесермянского народа, был предложен Т. И. Тепляшиной (1970: 243) и на десятилетия стал *received wisdom* бесермяноведения (ср. Насипов 2010: 17). С другой стороны, С. А. Максимов (2008: 108), признающий, как было сказано, чувашский этноязыковой профиль чепецкой *чюваши*, предполагает, что в конечном счёте это население было ассимилировано бесермянами. Вообще говоря, вхождение некоторых чепецко-чувашских родов в состав бесермянского народа выглядит вполне вероятным с учётом того, что смена идентификации *чуваши* > *бесермянин* прослеживается по документальным свидетельствам порой внутри одних и тех же семейных линий¹⁷. Однако приходится оговориться, что этнические маркировки в переписях XVII в. в целом исключительно нестабильны, что ограничивает применимость этого корпуса данных в этноисторических и историко-лингвистических построениях. Может быть, ассимиляция в данном случае имела только точечный характер, поскольку — и это критично для всей «гипотезы древнебулгарского/чувашского субстрата» — предположение о наличии в бесермянском наречии специфи-

¹⁶ Единственный известный мне достоверный пример на последнюю ситуацию — молькеевские (подбрезинские) кряшены, жители Кайбицкого района Татарстана на границе с Чувашией, которые в этнографическом отношении очень мало отличаются от низовых чувашей и говорят на мишарско-татарском диалекте с большим количеством чувашских заимствований, в т.ч. выраженно субстратного (судя по отражаемым семантическим полям) характера. В течение XIX в. в среде кряшен этой группы неоднократно фиксировалось самоназвание *чуваши* (История и культура татар-кряшен: 225–226).

¹⁷ На вероятную ассимиляцию отдельных чувашских родов не только среди бесермян, но и среди удмуртов Каринского стана указывают также личное имя *Чюваши* и фамилия *Чювашев*, документированные в переписях XVII в. среди бесермянского и «отяцкого» населения.

чески субстратных элементов болгаро-чувашиского происхождения не подтверждается анализом фактического языкового материала (Кельмаков 1985; Идрисов 2013). Само по себе исчезновение чувашей как отдельной этнической группы бассейна Чепцы вовсе не свидетельствует автоматически о преимущественной или исключительной ассимиляции среди бесермян — об этом будет подробнее сказано ниже.

На этом фоне важно подчеркнуть, что известный факт исключительного этнографического сходства между чувашами и бесермянами, а равно и наличие чувашских заимствований в бесермянском наречии (которые, однако, в массе своей не являются сепаратными, присутствуя и в других удмуртских диалектах; см., например, Идрисов 2013: 27–29) вовсе не требуют предположения именно о субстратно-суперстратном характере связей. Совокупность соответствующих параллелей вполне могла возникнуть в результате относительно длительного и тесного сосуществования двух групп — т. е. адстратного взаимодействия. И если упомянутая работа В. В. Напольских показывает, что такое взаимодействие началось, по-видимому, ещё на Нижней Вятке — Нижней Каме, завершиться оно могло уже на Чепце.

Переходя, таким образом, к третьему из поставленных вопросов — о возможных элементах чепецко-чувашиского происхождения в языках Чепецкого края и сопредельных территорий, — следует сразу отметить крайнюю разреженность соответствующего материала.

В бесермянском наиболее серьёзным кандидатом на статус позднего сепаратного чувашизма является, пожалуй, случай *gigata* ‘повитуха’, *gigata abi* ‘тж.’, *gigat-a(l)* ‘принимать роды’ (Wichmann 1987: 59, 62) ← ср.-чув. **kogata* (чув. *kogata-j* ВОС ‘бабушка по матери; обращение к старухе’). Чувашиская этимология предложена для бесермянского слова в Максимов 2018b: 35–36. Чув. *kogata-j* является сложением основы **koga*, с эмфатической геминацией представленной в чув. *kokka* ‘дядя по матери’ (? ср. казах. *köke* ‘обращение к старшему брату ~ отцу ~ дяде по отцу’) и чув. *ata* ‘мать’. Таким образом, речь здесь идёт о ‘бабушке по матери’ как о ‘матери брата матери’; ср. ту же модель, например, в удм. *šičanaŋ* ‘бабушка по матери’ и см. специально посвящённую ей статью Максимов 2019. Консонантный костяк *g-g-* в бесермянском обусловлен, по-видимому, контактированием с *gogi* ‘пупок’. Дальнейшее развитие этой народной этимологии, т. е. окончательную перестройку чувашизма под прозрачное сложение удмуртских основ, находим в удм. (сев.: слободской говор) *gogi=miti* ‘повитуха’, букв. ‘пупочная мать’. К полисемии ‘бабушка’ ~ ‘повитуха’ ср., помимо рус. *повивальная бабка*, например, чув. (диал.) *äbi* ‘бабушка; мать; повитуха’, а также *babuška* ‘повитуха; знахарка’ (← рус.) в современной документации бесермянского наречия (Усачёва и др. 2017: 247–248). Узколокальное распространение термина *gigata* в бесермянском наречии и, по-видимому, народно-этимологически перестроенного варианта того же термина в слободском удмуртском позволяет с большой вероятностью связывать заимствование этого слова с поздним чувашским присутствием непосредственно на Чепце.

С другой стороны, с пребыванием чувашского населения на Нижней Чепце и прилегающих территориях бассейна Вятки могут быть связаны отдельные сепаратные чувашизмы в южных коми-зырянских диалектах. Некоторые такие случаи рассматриваются в работе Г. В. Федюновой (2014); большинство предложенных ею этимологий, впрочем, не может быть принято. Ср., однако, следующий случай, где чувашское заимствование конкретно в южные коми-зырянские говоры (без соответствий в других пермских идиомах) несомненно: коми (диал.: лузско-летские и нижневьчегодские говоры) *kerša* в составе *šin kerša* ‘бровь’ (*šin* ‘глаз’), ср. чув. *xarža* в составе *koš xarž-i* ‘тж.’ (*koš* ‘глаз’). Ср. удм. *šin-kaš* ‘бровь’, где вторая часть заимствована из тат. *qaš* ‘бровь’. УТ **qāš* восходит

к ПТ **qāṭ*, откуда и ср.-чув. **xəl* → мар. (горн.) *xal* ‘бровь’. Наряду с этим можно восстанавливать диминутивную форму вида ПТ **qāṭ-aq* > др.-чув. **xɔ(r)ša* с развитием **ṭ* > **š* перед гласным по правилу О. А. Мудрака. Наконец, развитие *š* (-ž-) > -rž- в интервокале является среди тюркских специфически чувашским, причем довольно поздним, поскольку под него подпадают даже некоторые русские заимствования (например, рус. *сажень* → чув. *šaržan*). Существенно, что часть южнокоми-зырянского ареала относится, как и земли по Чепце, к бассейну Вятки (Летка является её правым притоком), так что узколокальную дистрибуцию этого заимствования естественнее всего объяснять контактами на северной периферии предполагаемого чепецко-чувашского ареала.

Практически не изучен вопрос о возможном чувашском субстрате в диалекте чепецких (каринских) татар. По крайней мере, вызывает интерес информация Н. Б. Бургановой (1962: 27), согласно которой для этой группы говоров характерен финальный *-m* в соответствии с *-n* в других татарских диалектах. Как известно, появление *-m* в соответствии с УТ **-n* — характернейшая черта фонетики болгарской ветви (СИГТЯ 2006: 44–48). А ещё одним идиомом, для которого у Н. Б. Бургановой указана та же особенность, является говор молькеевских крышен, сформировавшийся на явном чувашском субстрате. Такое совпадение не выглядит случайным и даже независимо от вопроса о механизмах ассимиляции представляет дополнительный аргумент в пользу бывшего чувашского языкового элемента на Чепце. К возможности ассимиляции чепецко-чувашского населения среди татар отсылает и отмеченная выше нестабильность этнических маркировок: в документах XVII в. она, пусть и окказионально, затрагивает также соотношение *каринские чувашши* ~ *каринские татары*. При всей ограниченности выводов, которые можно извлечь из подобных обозначений, этот материал служит ещё одним аргументом в пользу того, что исчезновение чепецкой *чуваши* не следует сводить исключительно к её растворению среди бесермян.

Наряду с этим в чепецко-татарском достаточно многочисленны слова, на первый взгляд напоминающие сепаратные (как правило, отсутствующие в других татарских диалектах) чувашизмы, ср.: *итај* ‘удобный’ (при тат. литер. *иһај* ‘тж.’ и ср.-чув. **vтај* ‘удобный; удобство, порядок, лад’, о котором см. Савельев 2025: 143; регулярное развитие **η* > *m* чепецко-татарским идиомам неизвестно); *bići* ‘родственник’ (при тат. литер. *bićä* ‘жена, замужняя женщина’ и ср.-чув. **bej-ćä* ‘старший родственник по мужской линии’, см. выше секцию 1, критерий xvi); *sañik* ‘вилы’ (при тат. *sänäk* и ср.-чув. **säñäk* > чув. *sänäk* ‘тж.’); *baləm* ‘блин’ (при тат. литер. *balan* ← др.-рус. *блинъ* → ср.-чув. **biləm* с характернейшей меной **-n* на **-m* после этимологического узкого гласного > чув. *pələm* ‘тж.’). Однако эти чувашизмы распространены и в удмуртском языковом массиве (*итој* ‘хороший, правильный’; *beće* ‘родственник’; *sañik* ‘вилы’; *biļim* ‘блин’), так что во всех приведённых случаях речь может идти уже о бесермянских или севернудмуртских заимствованиях в чепецко-татарском.

Таким образом, следы возможного чепецко-чувашского влияния в языках региона не составляют плотного слоя свидетельств, однако изолированные факты такого влияния обнаруживаются сразу в бесермянском, северном удмуртском, южном коми-зырянском и каринско-татарском, так что в совокупности они складываются в достаточно выразительную картину позднего присутствия чувашеязычного населения на Чепце. Эта ареальная конфигурация хорошо согласуется с рассмотренными выше письменными свидетельствами о присутствии в регионе сравнительно немногочисленного *чуваши́хского* населения, а также с данными топонимики (на территории бывшей Вятской губернии — прежде всего, по левому берегу Вятки и, в частности, в бассейне Чепцы — хорошо известна топонимическая основа *Чуваши́х*, см. Тепляшина 1968: 182–183). Указанная немно-

гочисленность, по-видимому, способствовала ассимиляции чепецких чувашей среди соседних народов, причём данные письменных источников скорее указывают на бесермянское (и, возможно, северноудмуртское) её направление, а предполагаемые следы лингвистического субстрата — на татарское. Тем самым исчезновение *чуваши* Чепцы как особой документально фиксируемой группы во второй половине XVII в. едва ли следует понимать как результат её растворения в каком-либо одном соседнем народе.

4. Булгаро-чувашские заимствования в общепермский диалектный континуум

Итак, теперь можно говорить о нескольких относительно надёжно выделяемых пластах пермских булгаризмов: древнечувашские заимствования в прапермский (VIII–IX вв.; см. Савельев 2025), среднечувашские заимствования в (обще)удмуртский (XIV–XV вв., см. секции 1–2 настоящей статьи); (поздне)среднечувашские заимствования в уже разошедшиеся диалекты языков пермской группы — по крайней мере завятские и северные говоры удмуртского языка, бесермянское наречие, южные коми-зырянские говоры (XV–XVII вв., см. секцию 3 настоящей статьи)¹⁸. Однако остаётся рассмотреть ещё одну группу лексем контактного происхождения, которые характеризуются тем, что они (а) широко распространены как в удмуртском, так и в коми (за пределами южнокоми ареала),

¹⁸ Заслуживает особого рассмотрения – и потому не обсуждается детально в настоящей статье – проблема своеобразной группы булгаро-чувашских заимствований в пермских языках, распространение которых ограничено удмуртским и коми-пермяцким ареалами (без соответствий в коми-зырянском либо только со спорадической представленностью у южных коми-зырян). Ср. такие показательные случаи, как удм. к.-перм. *kab* ‘колодка для обуви’ ~ чув. *kap* ‘форма’ < ПТ **gēp*; удм. *turto* ‘оглобля, дышло’, к.-перм. *torta* ‘палка с плоской дужкой на конце (для сучивания зерна на току)’ ~ чув. *torda* ‘оглобля’ (см. детали под сноской 6 выше); удм. *śur*, к.-перм. *śor* ‘неродной, приёмный’ ~ чув. *śor(ā)* ‘половина, полу-; неродной, приёмный’ < ПТ **jār*-; удм. *suso*, к.-перм. *susa* ‘ткацкий челнок’ ~ чув. *ḡza*, (XVIII в.) *sāza* ‘тж.’ (< ПТ **sus*-) и др. Эта дистрибуционная группа была подробно рассмотрена К. Редеи и А. Рона-Ташем (см. Rédei & Róna-Tas 1972: 281; 1975: 32–38, а также англоязычное изложение в Rédei & Róna-Tas 1983: 27–34), которые относят соответствующие слова к постпрапермскому слою булгаризмов, при этом коми-пермяцкие формы интерпретируют не как результат прямых контактов с булгаро-чувашским, а как заимствования, опосредованные удмуртским. В ряде случаев такое направление передачи обосновывается фонетическими и морфологическими признаками; особенно показателен случай удм. *ulmo*, к.-перм. *ulme* ‘яблоко’ ~ чув. *olma* ‘тж.’ < ПТ **alma*, где к.-перм. *u* (при обычном в аналогичных случаях *o*) указывает на поздний удмуртизм. В конечном счёте К. Редеи и А. Рона-Таш распространяют эту интерпретацию и на остальные случаи, отрицая возможность контактов между булгаро-чувашским и предком коми-пермяцкого после распада прапермского языка. Иной интерпретации этого вопроса придерживается В. В. Напольских, связывающий повышенную представленность булгаризмов в коми-пермяцком по сравнению с коми-зырянским с относительно более плотными и длительными контактами между булгарами и населением Верхнего Прикамья. Контекстом для таких контактов могла служить вовлечённость этого ареала в систему булгарских укрепленных факторий, оставивших памятники типа Анюшкара и Рождественского городища, где археологически прослеживается булгарское население. Ср.: «...их рост начинается в IX–X вв. одновременно со сложением булгарского государства, упадок наступает в XIII в. в период монгольского нашествия и первого разгрома Булгарии, а к концу XIV в. практически все эти городища окончательно прекращают своё функционирование – одновременно с гибелью Волжской Булгарии как самостоятельного политического и экономического образования и исчезновением вместе с ней экономической, социально-политической и военной базы этих центров» (Напольских 2018: 73–75, 99–100). Нет необходимости по умолчанию противопоставлять две приведённые интерпретации, поскольку возможные сепаратные булгаро-пермские контакты вплоть до XIV в. в Верхнем Прикамье вовсе не исключают идеи о том, что отдельные слова булгаро-чувашского происхождения могли проникнуть в коми-пермяцкий через удмуртское посредство. Разграничение этих ситуаций требует специального исследования.

при этом (b) соответствия между коми и удмуртскими формами в части случаев носят нерегулярный характер, что не позволяет возводить эти слова к прапермскому состоянию, и (c) в некоторых случаях фонетические особенности на стороне лексического донора либо реципиента указывают на более позднюю датировку контакта по сравнению с булгаро-пермскими контактами VIII–IX вв. Сочетание этих признаков позволяет поставить вопрос об идентификации пласта заимствований, источник которых с некоторой условностью может быть определён как «позднедревнечувашский», а на роль реципиента претендует находившийся в процессе распада общепермский диалектный континуум. Предварительно эти контакты могут быть отнесены к X–XIII вв.; основания для верхней границы такой датировки будут рассмотрены ниже. Необходимость выделять данный пласт заимствований наиболее наглядно иллюстрируют следующие этимологии.

- Удм. *bus* ‘туман, дымка, пар’, (бес.) *bâs* ‘туман’, коми *bus* ‘пыль’, (диал.) ‘мелкий дождь, изморось’ ← позднедр.-чув. **bus* (чув. *pâs* ‘пар; угар’) < ПТ **bus*. Слово неизвестно в татарском, но документировано как *bõθ* ‘пар’ в башкирском, т. е. в общем в поволжско-кыпчакском ареале известно, и нельзя исключать, что ранее оно было распространено и в татарских говорах. Кроме того, ср. рус. (диал.: архангельские, вологодские, вятские, пермские, уральские, сибирские говоры) *бус* ‘мелкий дождь; туман, изморось; мучная пыль на мельницах, идущая на корм скоту’ (СРНГ 3: 302). Выяснение отношений между формами этого слова в разных языках давно вызывает трудности. Ю. Вихманн сначала считал удмуртское и коми слова непосредственно связанными друг с другом, но впоследствии поменял позицию и предложил объяснять коми слово как заимствование из русского, в то время как для удмуртского принималось чувашское происхождение (Wichmann 1903: 50). Между тем, согласно А. Е. Аникину (РЭС 5: 201–202), русское слово само заимствовано из пермских или напрямую из тюркских. Точечно (на Урале, в Сибири) тюркизм действительно не исключён, однако в целом тюркское происхождение выглядит сомнительным, учитывая явное тяготение ареала русского слова к Русскому Северу. Если его источником является коми, то сама коми форма (как и её удмуртская параллель) должна быть признана достаточно поздним чувашским заимствованием. Отвергаемые при этом альтернативы — считать её заимствованной из поволжско-кыпчакского (но тогда это был бы исключительный случай прямого татаризма с широкой дистрибуцией в коми, см. Савельев 2025: 149), либо унаследованным из прапермского состояния заимствованием из древнечувашского (ср. КЭСК: 42–43). В последнем случае, однако, совершенно неясна вокалическая субституция, поскольку ожидалось бы ППерм **bus* > **bjs* > коми, удм. ***bjs* (Савельев 2025: 159). Естественнее считать удм., коми *bus* продолжениями заимствования из позднедр.-чув. **bus*, уже не подпадавшего под действие ППерм развития **u* > **j*. Из среднечувашского источника заимствовано мар. **pus* ‘запах, угар; пар’.
- Удм. (+бес.) *iske*, (диал.) *śike* ‘значит, стало быть, в таком случае’, коми *eśke*, (диал.) *veśke* ‘бы, же’ ← позднедр.-чув. **is=ke* (чув. *-(ə)škä* ‘ведь; оказывается, разумеется и т. п.’) (Wichmann 1903: 59–60). Чувашская частица является сложением самостоятельно употребительных дискурсивных частиц *as*, *-ś* ‘ведь, действительно; оказывается’ и *kä* ‘частица, значение которой пока недостаточно ясно: иногда выражает побуждение (?); при уст<упительном> накл<онении> в протазисе и буд<ущем> изъяв<ительном> с вопро<сом> — «и», в аподозисе — как бы безразличное отношение вместе с предупреждением; в вопросах — живость и заинтересованность’ (СЧЯ VI: 187). Первый элемент сложения этимологически тождествен тат. *ic* ‘ведь, же’, которое считается в Эхмэтьянов 2015, I: 317 вариантом тат. *hić*, диал. *ic* ‘никак; ни-’ (ср. также чув. *as* ‘совсем не’) ← персидская отрицательная частица *hić*, хотя детали семантического развития в таком слу-

чае нуждаются в прояснении¹⁹. Частица *-kä* не имеет этимологии. Чувашизм в удмуртском надёжен; при этом коми слово трудно отделять от удмуртского. Между тем формально в коми частице возможно выделять в качестве второго элемента *ke* ‘если; видимо, может быть’; в таком случае приходится предполагать здесь сложение на собственной почве, а вопрос стоит только о связи между чув. *śś*, *-ś* и коми *(v)es-*. Семантических препятствий для этого нет; коми-удмуртское вокалическое соответствие нетривиально, но имеет параллели в общепермской лексике (ср. Понарядов 2014: 33, где примеры с коми *e* ~ удм. *i* составляют одну из рубрик категории «Неясные случаи [развития гласных в пермских языках]»). Возможно, особое соответствие обусловлено в этом и большинством других похожих случаев позицией гласного рядом с палатальным согласным. Заимствование в пермские выглядит довольно старым, но отражение в пермском материале **ś* идиома-источника при этимологическом **ć* препятствует отнесению этого случая к древнейшему пласту болгаро-пермской контактной лексики (см. Савельев 2025: 158 и в настоящей статье секцию 1, критерий xvi).

- Удм. (+бес.) *uś-ja-* ‘открывать’, удм. *uś-t-* ‘открыть’, коми *voś-t-*, (диал.) *qś-t-*, *veś-t-*, к.-перм. *oś-t-*, к.-язьв. *uś-t-* ‘открыть’ ← позднедр.-чув. **āś-* ‘открывать, открыть’ (Wichmann 1903: 123–124; Rédei & Róna-Tas 1983: 14). Чув. < ПТ **ać-*, откуда и тат. *ać-* ‘тж.’ Пермский суффикс **-ja-* является мультипликативным (множество повторяющихся ситуаций), а **-t-* — семельфактивным (единичная ситуация) (Кузнецова и др. 2013: 536). Полностью аналогичное вокалическое соответствие наблюдается в исконной основе удм. *uj*, коми *voj*, к.-перм. *oj*, к.-язьв. *uj* ‘ночь’ < ПУ **e(x)ji* ~ **ü(x)ji* ‘тж.’ (ср. Понарядов 2014: 13); т. е. заимствование в пермские выглядит довольно старым. При этом отражение в пермском материале **ś* идиома-источника в соответствии с ПТ **ć* препятствует отнесению этого заимствования к древнейшему пласту болгаро-пермской контактной лексики.
- Удм. *śerj* ‘шпулька, цевка’, (бес.) *śerđ* ‘шпулька, катушка (для ниток)’, коми *śuri* ‘уток, намотанный на цевку’, (диал.) *śuri* ‘цевка, шпулька (для наматывания пряжи)’, к.-перм. *śuri* ‘цевка (катушка для пряжи)’ ← позднедр.-чув. **śürä* (чув. *śä°rā°* ‘кольцо; цевка для тканья’). Чув. < ПТ **jüjük*, откуда и тат. *jözök* ‘перстень’. Из чувашского источника также тат. *šürä* ‘цевка’, откуда обратное заимствование — чув. (диал.) *šürä* ‘цевка, шпулька (на которую наматывают нитки)’. Соответствие коми *u* ~ удм. *e* проблематично (ср. категоризацию данной основы вместе с ещё двумя примерами на то же соответствие под рубрикой «Неясные случаи» в Понарядов 2014: 33). На основании этой нерегулярности, а также ввиду нехарактерного для старых болгаризмов сохранения ауслаутного узкого гласного в коми двусложной основе данное слово уже у Ю. Вихманна (Wichmann 1903: 98–99, 139) и далее у Д. Лако (Lakó 1935: 170) рассматривается как постпрапермское заимствование из источника чувашского типа. Иначе (как заимствование в общий предок коми и удмуртского) — в Лыткин 1964: 225; КЭСК: 274. Ю. Вихманн предполагал, что чувашское слово могло сначала проникнуть в коми-пермяцкий, а оттуда — в южные коми-зырянские говоры; эта точка зрения принята и в Rédei & Róna-Tas 1983: 25.
- Удм. *śart-ćj*, (бес.) *ćar-ćä* ‘репа’, коми *śork-ñi*, к.-перм. *śort-ñi* ‘тж.’ ← позднедр.-чув. **śäw(ə)r-äk* (чув. *śaräk* ‘репа’) (Wichmann 1903: 97; КЭСК: 253). Предковое чув. **śäw(ə)r-äk* букв. ‘кругляшок’ производно от **śäwār-* (чув. *śavār-* ‘крутить, вертеть’; ср. по той же мотивационной модели чув. *śavr-aga* ‘круглый’, *śavr-äm* ‘круг’, *śavr-aška* ‘кружок’). Современное чув. *śaräk* отражает стяжение комплекса *-avä-* в многосложных словах, ср. ана-

¹⁹ В татарском есть образование *icmasa* ‘хотя бы; даже’, являющееся стяжением из *(h)ic=bulmasa* ‘по крайней мере’ (букв. ‘как бы то ни было’). Может быть, *ic* ‘ведь, же’ стоит считать как бы сокращённым вариантом этой или иной конструкции, синхронно не имеющей негативного компонента в семантике, но этимологически включающей в качестве первого элемента *(h)ic* ‘ни-’.

логичное развитие, например, в *arman* ‘мельница’ (этимологически **avâr-man*, производное от *avâr-* ‘молоть’). Номинация ‘кругляшок’ > ‘корнеплод; растение со съедобным корнеплодом’ тривиальна. Изложенная в Rédei & Róna-Tas 1983: 39 критика гипотезы о болгарском происхождении пермского слова представляется необоснованной. Другие примеры на соответствие удм. *a* ~ коми *o* см. в Понарядов 2014: 10; не исключено, что в данном случае оно проистекает из сочетания «открытый гласный + **w*» в идиоме-источнике. При этом отражаемый в пермском материале **ś* на месте ПТ **ć* исключает возможность отнесения этого заимствования к древнейшему пласту болгаро-пермской контактной лексики. Иная этимология чувашского слова обосновывается в Напольских 2018: 501–506.²⁰

Если нижняя хронологическая граница данного пласта определяется его непринадлежностью к древнейшему слою болгаро-пермской контактной лексики VIII–IX вв., то верхняя граница не может быть установлена без обращения к вопросу о среднемонгольских заимствованиях в пермских языках.

Проникновение среднемонгольской лексики в Волго-Камский регион надёжно связывается с монгольскими завоеваниями 1230-х гг. Монголизмы в большом количестве присутствуют в татарском языке (см. представительный набор примеров в Эхмэтьянов 2015), а через татарский они могли проникать в чувашский и соседние финно-угорские языки (включая удмуртский). Помимо этого, в чувашском языке имеются десятки таких монголизмов, которые синхронно отсутствуют или очень узко представлены в татарском. Н. Поппе (Porre 1977) полагал, что и в таких случаях речь следует вести о былом татарском посредничестве при заимствовании из среднемонгольского источника (даже в отсутствие формальных признаков татаризмов), однако А. Рона-Таш обосновал возмож-

²⁰ Отдельно следует остановиться на двух основах, которые нередко безоговорочно включаются в список болгаризмов пермских языков, но достаточно плохо вписываются даже в выделяемый здесь пласт «позднедревнечуваши́х» заимствований в общепермский диалектный континуум. Если для большинства рассмотренных выше этимологий такая атрибуция позволяет дать приемлемое объяснение наблюдаемым фонетическим отклонениям, то в двух следующих случаях проблемы субституции остаются довольно принципиальными; в сочетании с не совсем точным семантическим соответствием между болгарским и пермским материалом даже сам статус болгарских заимствований здесь может быть поставлен под сомнение. Во-первых, ср. случай удм. (+бес.) *śil* в составе удм. *śil*=*tēl*, (бес.) *śil*=*tēl* ‘буря, ураган’, коми *śiv*, (диал.) *śiv*, *śil* ‘тж.’ — при чув. *śil* ‘ветер’ < ср.-чув., др.-чув. **śel* < ПТ **jel* ‘тж.’ (Wichmann 1903: 99–100). Во всех иных известных случаях – и в том числе в палатализирующих контекстах – булг. **ę* отражается как удм. *e*, ср. этимологии удм. *šetj* ‘накосник’ и *beće* ‘родственник’ (секция 1, критерий xvi), а также удм. *vete* ‘помочь’ (секция 1, критерий xviii). Особая «сужающая» субституция через удм. *i* в принципе может быть обусловлена положением гласного не просто рядом с палатальным, а между двумя палатальными согласными. При этом удм. *śil*=*tēl* ‘буря’ выглядит как полукалька с чув. *śil*=*tē* ‘тж.’ (букв. ‘ветер-буря’; материальное сходство вторых элементов сложения здесь случайно). Таким образом, для удм. *śil* ‘ветер’ чувашское происхождение очень вероятно, но не следует ли отделять от него фонетически нерегулярно ему соответствующее коми *śiv* ‘буря’, связывая последнее напрямую с венг. *szél* ‘ветер’, традиционная болгарская этимология которого компрометируется практически уникальным появлением венг. *sz-* на месте ПТ **j-* (ср. Дыбо 2007: 31) при обычной субституции через венг. *gy-*? По крайней мере формально венг. *szél* и коми *śiv* могут быть возведены к ПУ **ćili*. Конечно, возможность такой интерпретации, предполагающей только случайное сходство между удмуртским и коми словом, требует дальнейшего обоснования. Во-вторых, ср. случай удм. *śek-jt*, коми *śek-jd* ‘тяжелый’ – при чув. *śak* ~ *śak* ‘воз, груз, ноша’ < ПТ **juk* ‘тж.’ (Wichmann 1903: 97–98; Rédei & Róna-Tas 1975: 32; 1983: 11–12). Уже у Ю. Вихманна сопоставление даётся под вопросом; К. Редеи и А. Рона-Таш также считают это сопоставление фонетически проблематичным из-за необычного соответствия широкого неогубленного гласного как в коми, так и в удмуртском этимологически узкому огубленному гласному в чувашском. По-видимому, такая субституция действительно уникальна. О самом соответствии удм. *e* ~ коми *e* см. выше секцию 2 под обсуждением удм. *keć* ‘коза’ ~ коми *keć* ‘заяц’.

ность идентификации прямых монгольских заимствований в чувашском (Róna-Tas 1975; 1982). Подобные монголизмы также попадали из чувашского в финно-угорские языки — прежде всего, в марийский и удмуртский — в рамках контактов послемонгольского времени. В контексте настоящего исследования важно подчеркнуть, что в удмуртском имеется достаточно представительный корпус заимствованной чувашской лексики монгольского происхождения. Выше в секции 1 уже были рассмотрены в этом ключе удм. *bed'ono* ‘перепёлка’ (под критерием хх), удм. *kudo* ‘сват’ (критерий ххii) и (?) удм. *vete* ‘помочь’ (критерий хviii). Однако этот список следует расширить, по крайней мере, за счёт следующих этимологий.

- Удм. *kandelem*, (диал.) *kemdel'e*, *kangelem* ‘свидетель’ ← ср.-чув. **kVndäläN* (чув. *kündälän*, диал. *kändäläm*, *kändälän*, *kändäm* ‘свидетель’). В чувашском слово производно от глагола *kündälä-* ‘свидетельствовать’, который, в свою очередь, заимствован из ср.-монг. рефлекса монг. **kündü-le-* ‘уважать, почитать, чествовать’ < **kündü* ‘тяжелый; уважение, почёт’. Вопреки ЭСЧЯ 1: 322–323, не исконными соответствиями к чувашскому слову, а параллельными монголизмами являются похожие формы в тюркских языках Сибири (телеут., кюэрик. *kündülä-* ‘оказать почет, с почетом угостить’, якут. *kündüle-* ‘угощать, почитать, оказывать гостеприимство’ и т. д.). Ср. Wichmann 1903: 71.
- Удм. *muglo*, (диал.) *mugilo*, *mugil'o*, *moklok*, *muglok* ‘комолый’ ← ср.-чув. **mVGāla* и т. п. (чув. *mā°kla*, диал. *mōkka*, *mā°kl'ä*, *mā°kl'ä* ‘комолый’), ср. чув. *mā°ga* ~ *moga* ‘тупой, тупоконечный’, *mā°gā°l'*, *mā°kl'ä*, *mā°kl'ä* и т. п. ‘нарост, шишка’. Чувашские формы отражают заимствование из ср.-монг. рефлекса монг. **mokV-* ~ **mogV-* ‘тупой; комолый’ (Nugteren 2011: 445), ср. халх. *moxō* ‘тупой’, *moxo-tor* ‘комолый; тупой, тупоконечный’ и т. п. Вопреки Róna-Tas 1982: 103–104, нет оснований считать чувашское слово татаризмом (ср. тат. *mōqōt*, *mōqāj* и т. п. ‘тупица’). Чувашским заимствованием является мар. **mvgāla* ‘комолый’. Невероятны построения ЭСЧЯ 1: 347–348, где чув. *mā°ga* ‘тупой’ на основании сравнения с указанным монгольским этимологом и тунгусскими параллелями возводится к праалтайскому состоянию, а чув. *mā°gā°l'* ‘нарост’ считается заимствованием из марийского (хотя при этом и приводятся похожие монгольские формы).
- Удм. *tingil'i*, *tingil'i* ‘ось’ ← ср.-чув. **tiŋ(g)älä* (чув. *tānäl*, диал.: СЗ *teŋgäl*, *tiŋgäl* ‘ось’). В тюркологической литературе чувашское слово возводится к ПТ **deŋgil* (EDAL: 1365; СИГТЯ 2006: 69), однако практически все тюркские формы указывают на **i* в первом слоге, ср. тур. *dingil*, тат. (диал.) *tāŋäl* и т. п. При этом к гипотетическому ПТ **dingil* чувашское слово восходить также не может, поскольку в таком случае ожидалось бы **iēnäl* по второй палатализации (см. секцию 1, критерий хvii). Лучше усматривать в чувашском заимствование из ср.-монг. *teŋgeli(g)* ‘ось’, о котором см. Nugteren 2011: 518. Позднему происхождению чувашского слова как будто противоречит венг. *tengely* ‘ось’, которое традиционно считается болгаризмом, но А. В. Дыбо (2010: 97) допускает для него и раннекыпчакское происхождение.

Совершенно иначе обстоит дело с предполагаемыми монголизмами в коми. Согласно С. К. Белых (Belykh 2007; Белых 2009: 100–102), среди тюркских слов среднемонгольского происхождения выделяется исключительно компактная группа лексем (от 2 до 4), которые проникли не только в удмуртский язык, но и в коми. Поскольку среднемонгольская лексика не могла попасть в языки Волго-Камского региона ранее монгольских завоеваний 1230-х гг., С. К. Белых интерпретирует подобные коми-удмуртские параллели как свидетельство того, что процесс распада общепермского диалектного континуума в это время ещё не был завершён. Однако даже эти несколько этимологий выглядят очень проблематичными.

- Коми (+к.-перм.) *dugd-* ‘остановиться, перестать, прекратиться’ ~ удм. (+бес.) *dugd-* ‘тж.’ ← ? тюрк. ← ? ср.-монг. рефлекс монг. **togta-* ‘быть устойчивым; стоять спокойно; останавливаться’ (Belykh 2007: 33–34; Белых 2009: 100–101). Ср. бес. *tukta-* ‘тж.’ — надежное заимствование той же монгольской основы через кыпчакское (тат. *tuqta-*) или чувашское (*tâ˚xta-*) посредство. Фонетические субституции в случае «тюрко-монгольского» происхождения *dugd-* неясны (сомнительность этой этимологии признаёт и С. К. Белых). Вместе с тем следует отметить, что и уральская этимология пермского слова (КЭСК: 97; Sammallahti 1988: 554) не может быть принята (Kuokkala 2018: 31–32).
- Коми (диал.: верхневьегодские говоры) *koñ=koñ, koñe=koñe* ‘возглас, которым подзывают телят’ ~ ? удм. *kuñan* ‘телёнок’ ← ? тюрк. ← ср.-монг. рефлекс монг. **gunan* ‘трёхлетний (о животном)’ (Belykh 2007: 33–34; Белых 2009: 101). Среднемонгольский, действительно, послужил источником для тат. *qõnan* ‘трёхлетняя лошадь (реже — корова)’ (Әхмәтьянов 2015, I: 436–437). Однако связь пермского слова с этим гнездом не выглядит очевидной (в части, касающейся коми, это признаёт и С. К. Белых). Инлаутный *-ñ* в коми и удмуртском может быть объяснён разве что на экспрессивной почве; кроме того, и семантический переход от ‘трёхлетней лошади (реже коровы)’ к ‘телёнку’ выглядит достаточно нетривиальным. С. К. Белых приводит в связи с данным случаем тат. (диал.) *qõtna-* ‘жеребиться’, что могло бы несколько упростить семантическую сторону сравнения (по крайней мере, объясняя переход к семантике ‘детеныш копытного’ в пермских), однако это татарское слово принадлежит к другой этимологии (тат. *qõlõn*, диал. *qõn* ‘жеребёнок’ < ПТ **quluN* ‘тж.’).
- К.-перм. *céber* ‘гордый, своенравный’, (диал.) *céber* ‘хвастливый; красивый; гордый’ ~ удм. *céber* ‘красивый’ ← тюрк. ← ср.-монг. *céber* ‘красивый; приятный’ (Belykh 2007: 33–34; Белых 2009: 100–101). Согласно С. К. Белых, данная параллель «не вызывает особых сомнений», заметим, однако, что восстановление цепочки контактов именно в таком виде — от монгольского через тюркские к общепермскому диалектному континууму — не выглядит очевидным. Хотя тюркское слово (ср., в частности тат. *çibär* ‘красивый’ → чув. *çibär* ‘тж.’) традиционно считается монгольским по происхождению, Rédei & Róna-Tas 1983: 28 указывают на ненадёжность такой интерпретации, отмечая широкую дистрибуцию в тюркских, отсутствие внутренней монгольской этимологии и необъяснимость на монгольской почве форм типа туркм. *céper* (с глухим *-p*!). Узкая дистрибуция слова в коми ареале (только коми-пермяцкий) вовсе не требует предположения о заимствовании в общепермское состояние, а скорее объясняется существованием в послемонгольское время особой контактной зоны в районе расселения коми-пермяков, которая могла затрагивать удмуртские, а также поволжско-кыпчакские и/или болгаро-чуваши́е идиомы (см. выше сноску 18).
- Коми **cid-*: *cidje=vadję volinj* ‘быть в нужде, безвыходном положении’, к.-перм. *cid-* ‘беспокоиться, сокрушаться’, к.-язьв. *cidem* ‘злость, обида’ ~ удм. *cid(-)a(l)-* ‘терпеть, выносить’ ← тюрк. ← ср.-монг. *cida-* ‘мочь, быть в состоянии’ (Belykh 2007: 33–34; Белых 2009: 100–101). Монгольское происхождение чув. *çât-* ‘терпеть’ не вызывает сомнения; поволжско-кыпчакское посредство здесь допустимо, но вовсе не обязательно (основа *çâda-* ~ *câda-* не является общетатарской, будучи представленной только в мишарских и сибирско-татарских говорах, см. Әхмәтьянов 2015, II: 467). С учётом этого (средне)чувашский выглядит наиболее вероятным источником удмуртского слова. Приходится заметить, что в целом данная монгольская по происхождению основа имеет стабильное значение типа ‘терпеть, выносить, выдерживать’ во всех языках Волго-Камского региона (ср. также мар. **cita-* ‘тж.’; вероятно, сюда же и эрз. *cid’-ard(o)-* ‘выдерживать’); на этом фоне значительно отличающаяся семантика коми форм вызывает некоторые сомнения в их

принадлежности к тому же этимологическому гнезду. Но развитие значений типа ‘беспокоиться; обижаться’ из ‘*терпеть’, конечно, не исключено, так что этот случай выглядит наименее проблематичным из всего представленного списка.

Таким образом, практически в каждом из приведённых случаев монгольская этимология для коми слова выглядит сомнительной; даже если какие-то из этих форм и являются, действительно, монгольскими по происхождению, общее число монголизмов в коми оказывается исчезающе малым. Особенно показателен этот факт на фоне достаточно многочисленных монголизмов в удмуртском, в том числе надёжных заимствований через чувашское посредство. Резкая асимметрия в распределении этого хронологически маркированного слоя служит сильным свидетельством в пользу того, что к середине XIII в. общепермский диалектный континуум уже фактически распался (что тем самым определяет эпоху монгольских завоеваний как верхнюю границу для рассматриваемого здесь пласта «позднедревнечувашских» заимствований), а связи коми языка с Волго-Камским языковым ареалом в целом сошли на нет. Отдельные исключения не противоречат этому выводу, поскольку имеют локальный характер и объяснимы сепаратными контактами послемонгольского и даже более позднего времени: это упомянутая зона соприкосновения коми-пермяцкого ареала с удмуртским и поволжско-тюркским ареалом, а также связи южных коми-зырян с Вятско-Чепецкой контактной зоной (см. выше секцию 3). Если известные «особые отношения» (Белых 2009: 91), связывающие, с одной стороны, южнокоми ареал и удмуртский язык, а с другой стороны — севернудмуртский ареал и коми язык, и восходят частично к эпохе общепермского диалектного континуума, то возникновение соответствующих изоглосс следует датировать периодом до монгольских завоеваний. Остальные же изоглоссы требуют объяснения в свете коми-удмуртских контактов более позднего времени (ср. Максимов 2016; 2018а; 2025).

* * *

Проведённый анализ позволяет существенно детализировать картину стратификации булгаро-чувашских заимствований в пермских языках. Наряду с уже идентифицированным в первой части исследования (Савельев 2025) пластом древнечувашских заимствований в прапермский язык VIII–IX вв. выделяются: позднедревнечувашские заимствования X–XIII вв., распространявшиеся в условиях уже распадавшегося общепермского диалектного континуума; многочисленный пласт среднечувашских заимствований в (обще)удмуртский XIV–XV вв.; наконец, отдельные зоны — Арская сторона, Чепецкий край — поздних (XV–XVII вв.) контактов среднечувашских говоров с уже обособившимися диалектами пермских языков. Представленная модель позволяет объяснить как нетривиальные коми-удмуртские соответствия, не укладывающиеся в реконструкцию единого прапермского прототипа, так и случаи последовательного обновления прапермских булгаризмов более поздними заимствованиями в отдельных пермских языках (как правило, за счёт среднечувашской лексики в удмуртском и за счёт русской — в коми).

Таким образом, можно говорить о практически непрерывных булгаро-пермских языковых связях с начала переселения булгар в Волго-Камский регион (самый конец VII в.) и до XVI–XVII вв., когда чувашское население Арской стороны постепенно ассимилировалось среди татар и одновременно вероятный чувашский этноязыковой компонент на Нижней Чепце также растворился среди окружающих народов. Ныне зоны компактного сельского расселения чувашей и удмуртов соприкасаются только в двух микроареалах: в Бавлинском районе Татарстана (где удмурты присутствуют с XVII в., чувашки — с XVIII в.),

а также в Граховском районе Удмуртии (куда чувашаи переселились в связи со столыпинской реформой в 1911–1914 гг.). В остальном чувашский и удмуртский ареалы оказались разорваны, прежде всего, вследствие интенсивной кыпчакизации Волго-Камского региона в эпоху Казанского ханства и первых веков существования Среднего Поволжья в составе Российского государства, что в целом и обусловило прекращение длившихся почти тысячу лет болгаро-пермских контактов.

Сокращения

алт. — алтайский язык; араб. — арабский язык; балк. — балкарское наречие; башк. — башкирский язык; бес. — бесермянское наречие удмуртского языка; булг. — болгарская ветвь тюркских языков; венг. — венгерский язык; верх. — верховой диалект чувашского языка; вост.-слав. — восточнославянские языки; горн. — горномарийское наречие; диал. — диалектная форма; др.-рус. — древнерусский язык; др.-тюрк. — древнетюркский язык; др.-чув. — древнечувашский язык; казах. — казахский язык; караим. — караимский язык; к.-перм. — коми-пермяцкий язык; к.-язьв. — коми-язьвинское наречие; кумык. — кумыкский язык; кыпч. — кыпчакская группа тюркских языков; кюэрик. — кюэрикское наречие; лив. — ливский язык; литер. — литературная форма; луг. — луговомарийское наречие; мар. — марийский язык; монг. — монгольская семья языков; низ. — низовой диалект чувашского языка; осм. — османско-турецкий язык; пер.-ю. — периферийно-южные говоры удмуртского языка; ПИЕ — праиндоевропейский язык; ППерм — прапермский язык; ПТ — пратюркский язык; ПУ — прауральский язык; рус. — русский язык; СЗ — северо-западное наречие марийского языка / северо-западный диалект чувашского языка; сев. — северное наречие удмуртского языка; ср.-монг. — среднемонгольский язык; ср.-чув. — среднечувашский язык; сред. — срединные говоры удмуртского языка; ст.-слав. — старославянский язык; тат. — татарский язык; телеут. — телеутский язык; тур. — турецкий язык; тюрк. — тюркская семья языков; удм. — удмуртский язык; узб. — узбекский язык; уйг. — уйгурский язык; уст. — устаревшая форма; УТ — узкотюркская ветвь тюркских языков; халх. — халха-монгольский язык; чеп. — чепецкий диалект татарского; чув. — чувашский язык; ю. — южное наречие удмуртского языка; эрз. — эрзя-мордовский язык; эст. — эстонский язык; якут. — якутский язык; CAR — каритив (лишительная форма); COLL — собирательный показатель; DAT.ACC — датив-аккузатив (дательновинительный падеж); DIM — диминутивная форма; PL — множественное число; PST — прошедшее время; SUBST — субстантиватор; VOC — вокатив (звательная форма); 3 — третье лицо.

Литература

- Охмәтьянов, Р. Г. 2015. *Татар теленең этимологик сүзлеге. Ике томда: I том (А–Д); II том (М–Я)*. Казан: Мәгариф–Вакыт.
- Белых, С. К. 2009. *Проблема распада прапермской этноязыковой общности*. Ижевск: Удмуртский госуниверситет.
- Бурганова, Н. Б. 1962. Говор каринских и глазовских татар. В: *Материалы по татарской диалектологии* 2: 19–56. Казань: «Татполиграф».
- Гришкина, М. В. 1988. Служилое землевладение арских князей в Удмуртии XVI — первой половины XVIII веков. В: В. Е. Владыкин и др. (ред.). *Проблемы аграрной истории Удмуртии*: 20–35. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы.
- Гришкина, М. В. 1989. Новые грамоты арским князьям на Вятке. *Советские архивы* 1989(4): 67–71.
- Дыбо, А. В. 2007. *Лингвистические контакты ранних тюрков. Лексический фонд. Пратюркский период*. Москва: Восточная литература.
- Дыбо, А. В. 2010. Вокализм раннетюркских заимствований в венгерском. В: Valentin Ju. Gusev, Anna Widmer, Annkatrin Klein (ред.). *Gedenkschrift für Eugen A. Helimski. Finnisch-Ugrische Mitteilungen, Bd. 32/33, Jahrgang 2008/2009*: 83–132.
- Дыбо, А. В. 2011. Отражение болгарских палатализаций в болгаризмах венгерского языка. В: Кузнецов А. В. (ред.). *Чувашский язык и этнос в истории евразийской цивилизации. Материалы Международной тюркологической конференции*: 10–21. Чебоксары: ЧГИГН.

- Дыбо, А. В. 2013. *Этимологический словарь тюркских языков. Том 9 (дополнительный)*. Астана: ТОО «Prosper Print».
- Дыбо, А. В. 2021. Булгарские заимствования в славянских языках: особенности вокализма. *Русин* 66: 183–206.
- Идрисов, Р. И. 2013. *Тюркские заимствования разных периодов в бесермянском диалекте удмуртского языка*. Москва: Издательство МГУ.
- Кельмаков, В. К. 1985. К вопросу о булгарском субстрате в языке бесермян. В: *Вопросы диалектологии тюркских языков*: 114–122. Уфа: БФАН СССР.
- Кельмаков, В. К. 1998. *Краткий курс удмуртской диалектологии: Введение. Фонетика. Морфология. Диалектные тексты. Библиография*. Ижевск: Изд-во Удм. ун-та.
- Кузнецова, А. И., Н. В. Сердобольская, М. Н. Усачева, О. Л. Бирюк, Р. И. Идрисов. 2013. *Словарь бесермянского диалекта удмуртского языка*. Москва: ТЕЗАУРУС.
- КЧРС = Золотницкий, Н. И. 1875. *Корневой чувашско-русский словарь*. Казань: Типография Императорского Университета.
- КЭСК = Лыткин, В. И., Е. С. Гуляев. 1970. *Краткий этимологический словарь коми языка*. Москва: «Наука».
- Луппов, П. Н. 1958. Удмурты в XV–XVII веках. Документы по истории Удмуртии XV–XVII веков. Ижевск: Удмуртское книжное издательство.
- Лыткин, В. И. 1964. *Исторический вокализм пермских языков*. Москва: Наука.
- Лыткин, В. И. 1967. О древнетюркских элементах в лексике пермских языков. *Вопросы финно-угорского языкознания* IV: 131–142.
- Лыткин, В. И., Е. С. Гуляев. 1975. Дополнения к краткому этимологическому словарю коми языка. *Коми филология. Труды ИЯЛИ КФАН СССР* 18: 3–45.
- Максимов, С. А. 2008. Самоназвания удмуртов и бесермян, их варианты, названия соседних народов в языке удмуртов и бесермян. *Linguistica Uralica* 44(2): 108–118.
- Максимов, С. А. 2014. Возможности и пути обогащения литературного языка лексикой маргинальных диалектов (на примере удмуртского языка). *Ежегодник финно-угорских исследований* 2014(5): 92–101.
- Максимов, С. А. 2016. О коми заимствованиях в удмуртском языке. *Linguistica Uralica* 52(2): 111–121.
- Максимов, С. А. 2018а. Севернудмуртско-коми ареальные языковые параллели: лексика, фонетика, морфология. Ижевск: УИИЯЛ УдмФИЦ УрО РАН.
- Максимов, С. А. 2018b. Тюркско-удмуртские лексические метаморфозы, или о некоторых словах со «странной» внутренней структурой в удмуртском языке. *Ежегодник финно-угорских исследований* 12(3): 30–46.
- Максимов, С. А. 2019. О терминах родства по материнской линии в удмуртском языке: источник типологической модели. *Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева* 3(103): 126–134.
- Максимов, С. А. 2025. Бесермянско-коми изоглоссы как свидетельство былых контактов между народами. *Linguistica Uralica* 61(2): 89–105.
- Мудрак, О. А. 1993. *Исторические соответствия чувашских и тюркских гласных: опыт реконструкции и интерпретации*. Москва: Институт востоковедения РАН.
- Мудрак, О. А., Ф. Г. Хисамитдинова. 2018. *Кыпчакские языки Урало-Поволжья*. Астана: Ғылым.
- Мусихин, А. Л. 2013. Грамоты каринским арским князьям XVI в.: история публикации и изучения. *Ежегодник финно-угорских исследований* 2013(4): 82–90.
- Напольских, В. В. 2018. *Очерки по этнической истории*. Казань: Институт археологии им. А. Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан.
- Напольских, В. В. 2021. Удмуртская акашка ~ бесермянская акаяшка и позднесредневековая этническая история Нижнего Прикамья. *Этнография* 4(14): 37–54.
- Напольских, В. В. 2025. К этимологии русск. безмѣн. *Вопросы языкознания* 2025(1): 136–147.
- Напольских, В. В. 2026. О времени и исторических обстоятельствах пермской деназализации. *Томский журнал лингвистических и антропологических исследований* 51(1): 29–39.
- Насипов, И. С. 2010. Финно-угорские заимствования в татарском языке: синопсис и таксономия: дисс. д. ф. н. Казань.
- Останина, Т. И. 2021. Гординский камень 1323 г.: новые сведения. *Поволжская археология* 38(4): 179–190.
- Понарядов, В. В. 2014. *Развитие гласных в пермских языках*. Сыктывкар: Коми научный центр УрО РАН.
- РЭС 5 = Аникин, А. Е. 2017. *Русский этимологический словарь. Выпуск 5 (буба I — вакштаф)*. Москва: Языки славянской культуры.

- Савельев, А. В. 2023. Комментарии к чувашским материалам Г. Ф. Миллера. *Российская тюркология* 40–41: 24–52.
- Савельев, А. В. 2025. О критериях выявления и стратификации булгаро-чуваших заимствований в пермских языках I. *Вопросы языкового родства* 23(1–2): 137–167.
- Савельев, А. В., Н. С. Мясников. 2026. К происхождению этнонима чуваш: основные версии и их историческая интерпретация. (Научные доклады ЧГИГН 42.) Чебоксары: Чувашский государственный институт гуманитарных наук.
- Серебренников, Б. А. 1963. *Историческая морфология пермских языков*. Москва: Издательство АН СССР.
- СИГТЯ 2006 = Тенишев, Э. Р., А. В. Дыбо (отв. ред.). 2006. *Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюркского этноса по данным языка*. Москва: Наука.
- СРНГ 3 = Филин, Ф. П. (гл. ред.). 1968. *Словарь русских народных говоров*. Вып. 3: Блазничка — Бяшутка. Москва / Ленинград: Наука.
- СЧЯ = Ашмарин, Н. И. 1928–1950. *Словарь чувашского языка*. Т. I–XVII. Казань–Чебоксары.
- Тепляшина, Т. И. 1968. О смешении терминов «чуваш» и «бесермяне» в письменных источниках. В: *Ученые записки ЧНИИЯЛИЭ*. Вып. 40: *История, этнография, социология*: 177–187. Чебоксары: Чувашкнигоиздат.
- Тепляшина, Т. И. 1970. *Язык бесермян*. Москва: Наука.
- ТТДС = Махмутова, Л. Т. (гл. ред.). 1969. *Татар теленең диалектологик сүзлеге*. Казан: Татар. кит. нәшр.
- ТТЗДС = Баязитова, Ф. С., Д. Б. Рамазанова, З. Р. Садыкова, Т. Х. Хәйретдинова (сост.). 2009. *Татар теленең зур диалектологик сүзлеге*. Казан: Татар. кит. нәшр.
- Усачёва, М. Н., Т. А. Архангельский, О. Л. Бирюк, В. А. Иванов, Р. И. Идрисов. 2017. *Тезаурус бесермянского наречия: имена и служебные части речи (говор деревни Шамардан)*. Москва: Издательские решения.
- Ўпймарий (Васильев, В. М.). 1926. *Марий мутэр*. Моско: СССР калык-влак рӯдӧ савыктыш.
- Федунева, Г. В. 2014. К вопросу о булгарско-пермских взаимоотношениях и их интерпретации по данным лексики. В: С. А. Мызников и др. (ред.). *Вопросы уралистики 2014. Научный Альманах*: 116–134. Санкт-Петербург: Нестор-История.
- Хакимов, Р. С. и др. (ред.). 2017. *История и культура татар-кряшен (XVI–XX вв.)*. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ.
- Хелимский, Е. А. 2000. *Компаративистика, уралистика. Лекции и статьи*. Москва: Языки русской культуры.
- ЭСРЯ = Фасмер, Макс. 1986–1987. *Этимологический словарь русского языка*. Т. I–IV. Москва: Прогресс.
- ЭСТЯ 1 = Севортян, Э. В. 1974. *Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на гласные*. Москва: Наука.
- ЭСТЯ 2 = Севортян, Э. В. 1978. *Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на букву «Б»*. Москва: Наука.
- ЭСЧЯ = Федотов, М. Р. 1996. *Этимологический словарь чувашского языка*. Т. 1–2. Чебоксары: Чувашский государственный институт гуманитарных наук.

References

- Әkhmәt'janov, R. G. 2015. *Tatar teleneñ etimologik syzlege. Ike tomda: I tom (A–L); II tom (M–Ja)*. Kazan: Mәgarif–Vakyt.
- Belykh, Sergei. 2007. Words of the Middle Mongolian origin in the Permian languages. *Idnakar: Metody istoriko-kul'turnoj rekonstruktsii* 2(2): 33–39.
- Belykh, S. K. 2009. *Problema raspada prapermskoj etnojazykovoј obshchnosti*. Izhevsk: Udmurtskij gosuniversitet.
- Benzing, Johannes. 1959. *Das Tschuwaschische*. In: Jean Deny, Kaare Groenbech, Helmuth Scheel, Zeki Velidi Togan (eds.). *Philologiae Turcicae Fundamenta* 1: 695–751. Wiesbaden: Steiner.
- Burganova, N. B. 1962. Govor karinskix i glazovskix tatar. In: *Materialy po tatarskoј dialektologii* 2: 19–56. Kazan': Tatpoligraf.
- Csúcs, Sándor. 2007. Permi-magyar nyelvtörténeti párhuzamok. *Nyelvtudományi Közlemények* 104: 86–123.
- Culver, Christopher, Niklas Metsäranta. 2025. Towards the Reconstruction of the Volga Bulgarian and Middle Chuvash Lexicon. *International Journal of Eurasian Linguistics* 7: 335–357. doi: 10.1163/25898833-20250078.
- Diószegi, Vilmos. 1970. Libation Songs of the Altaic Turks. *Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae* 19: 95–106.

- Dybo, A. V. 2007. *Lingvističeskiye kontakty rannix tjurkov. Leksicheskiy fond. Prat'urkskiy period*. Moskva: Vostochnaja literatura.
- Dybo, A. V. 2010. Vokalizm rannet'urkskix zaimstvovanij v vengerskom. In: Valentin Ju. Gusev, Anna Widmer, Annkatrin Klein (eds.). *Gedenkschrift für Eugen A. Helinski (= Finnisch-Ugrische Mitteilungen, Bd. 32/33, Jahrgang 2008/2009)*: 83–132.
- Dybo, A. V. 2011. Otrazhenije bulgarskix palatalizatsij v bulgarizmax vengerskogo jazyka. In: A. V. Kuznetsov (ed.). *Chuvashskij jazyk i etnos v istorii jevrazijskoj tsivilizatsii. Materialy Mezhdunarodnoj t'urkologičeskoj konferentsii*: 10–21. Cheboksary: ChGIGN.
- Dybo, A. V. 2013. *Etimologičeskij slovar' tjurkskix jazykov. Tom 9 (dopolnitel'nyj)*. Astana: TOO "Prosper Print".
- Dybo, A. V. 2021. Bulgarskije zaimstvovanija v slav'anskix jazykax: osobennosti vokalizma. *Rusin* 66: 183–206.
- EDAL = Starostin, Sergei A., Anna V. Dybo, Oleg A. Mudrak. 2003. *Etymological dictionary of Altaic languages*. Leiden: Brill.
- EDT = Clauson, Gerard. 1972. *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish*. Oxford: Clarendon Press.
- Erdal, Marcel. 1993. *Die Sprache der wolgabulgarischen Inschriften*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- ESChJa = Fedotov, M. R. 1996. *Etimologičeskij slovar' chuvashskogo jazyka. T. 1–2*. Cheboksary: Chuvashskij gosudarstvennyj institut humanitarnyx nauk.
- ESRJa = Vasmer, Max. 1986–1987. *Etimologičeskij slovar' russkogo jazyka. T. I–IV*. Moskva: "Progress".
- ESTJa 1 = Sevortjan, E. V. 1974. *Etimologičeskij slovar' t'urkskix jazykov: Obshchet'urkskije i mezht'urkskije osnovy na glasnye*. Moskva: Nauka.
- ESTJa 2 = Sevortjan, E. V. 1978. *Etimologičeskij slovar' t'urkskix jazykov: Obshchet'urkskije i mezht'urkskije osnovy na bukvu "B"*. Moskva: Nauka.
- Fedjuneva, G. V. 2014. K voprosu o bulgarsko-permskix vzaimootnoshenijax i ix interpretatsii po dannym leksiki. In: S. A. Myznikov et al. (eds.). *Voprosy uralistiki 2014. Nauchnyj Al'manax*: 116–134. Sankt-Peterburg: Nestor-Istorija.
- Geisler, Michael. 2002. Etymologien aus den permischen Sprachen. *Linguistica Uralica* 38(4): 241–244.
- Grishkina, M. V. 1988. Sluzhiloje zemlevladienie arskix kn'azej v Udmurtii XVI — pervoj poloviny XVIII vekov. In: V. Ye. Vladykin et al. (eds.). *Problemy agrarnoj istorii Udmurtii*: 20–35. Izhevsk: Udmurtskij institut istorii, jazyka i literatury.
- Grishkina, M. V. 1989. Novye gramoty arskim kn'az'jam na V'atke. *Sovetskije arxivy* 4: 67–71.
- Helinski, E. A. 2000. Komparativistika, uralistika. Lektsii i stat'i. Moskva: Jazyki russkoj kul'tury.
- Holopainen, Sampsa. 2023. Notes on an old problem of Hungarian historical vocalism: the sporadic (?) change of Uralic *u > Hungarian a, á. *Finnisch-Ugrische Forschungen* 68: 101–140.
- Idrisov, R. I. 2013. *T'urkskije zaimstvovanija raznyx periodov v beserm'anskom dialekte udmurtskogo jazyka*. Moskva: Izdatel'stvo MGU.
- Itkonen, Erkki. 1970. Bemerkungen über den Vokalismus der ersten Silbe von tschuwaschischen Lehnwörtern in einigen finnisch-ugrischen Sprachen. *Finnisch-Ugrische Forschungen* 38: 257–273.
- KChRS = Zolotnitskij, N. I. 1875. *Kornevoj chuvashsko-russkij slovar'*. Kazan': Tipografija imperatorskogo universiteta.
- Kel'makov, V. K. 1985. K voprosu o bulgarskom substrate v jazyke beserm'an. In: *Voprosy dialektologii t'urkskix jazykov*: 114–122. Ufa: BFAN SSSR.
- Kel'makov, V. K. 1998. *Kratkij kurs udmurtskoj dialektologii: Vvedenije. Fonetika. Morfologija. Dialektnyje teksty. Bibliografija*. Izhevsk: Izd-vo Udm. un-ta.
- KESK = Lytkin, V. I., Je. S. Guljaev. 1970. *Kratkij etimologičeskij slovar' komi jazyka*. Moskva: "Nauka".
- Khakimov, R. S. et al. (eds.). 2017. *Istorija i kul'tura tatar-kr'ashen (XVI–XX vv.)*. Kazan': Institut istorii im. Sh. Mardzhani AN RT.
- Kuokkala, Juha. 2018. Finnic-Saamic labial vowels of non-initial syllables: an etymological evaluation. In: Sampsa Holopainen, Janne Saarikivi (eds.). *Περὶ ὀρθότητος ἐτύμων. Uusiutuva uralilainen etymologia (Uralica Helsingiensia 11)*: 11–75. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
- Kuznetsova, A. I., N. V. Serdobol'skaja, M. N. Usacheva, O. L. Birjuk, R. I. Idrisov. 2013. *Slovar' beserm'anskogo dialekta udmurtskogo jazyka*. Moskva: TEZAURUS.
- Lakó, György. 1935. A permi nyelvek szónévi magánhangzói. *Nyelvtudományi közlemények* 49: 141–171.
- Luppov, P. N. 1958. *Udmurty v XV–XVII vekax. Dokumenty po istorii Udmurtii XV–XVII vekov*. Izhevsk: Udmurtskoje knizhnoje izdatel'stvo.

- Lytkin, V. I. 1964. *Istoricheskiy vokalizm permskix jazykov*. Moskva: Nauka.
- Lytkin, V. I. 1967. O drevnet'urkskix elementax v leksike permskix jazykov. *Voprosy finno-ugorskogo jazykoznanija* IV: 131–142.
- Lytkin, V. I., Je. S. Guljaev. 1975. Dopolnenija k kratkomu etimologicheskomu slovar'u komi jazyka. *Komi filologija. Trudy IJaLl KFAN SSSR* 18: 3–45.
- Maksimov, S. A. 2008. Samonazvanija udmurtov i beserm'an, ix varianty, nazvanija sosednix narodov v jazyke udmurtov i beserm'an. *Linguistica Uralica* 44(2): 108–118.
- Maksimov, S. A. 2014. Vozmozhnosti i puti obogashchenija literaturnogo jazyka leksikoj marginal'nyx dialektov (na primere udmurtskogo jazyka). *Jezhegodnik finno-ugorskix issledovanij* 2014(5): 92–101.
- Maksimov, S. A. 2016. O komi zaimstvovanijax v udmurtskom jazyke. *Linguistica Uralica* 52(2): 111–121.
- Maksimov, S. A. 2018a. *Severno-udmurtso-komi areal'nyje jazykovye paralleli: leksika, fonetika, morfologija*. Izhevsk: UIIJaL UdmFITs UrO RAN.
- Maksimov, S. A. 2018b. T'urksko-udmurtskie leksicheskie metamorfozy, ili o nekotoryx sloвах so “strannoju” vnutrennej strukturoj v udmurtskom jazyke. *Jezhegodnik finno-ugorskix issledovanij* 12(3): 30–46.
- Maksimov, S. A. 2019. O terminax rodstva po materinskoj linii v udmurtskom jazyke: istochnik tipologicheskoj modeli. *Vestnik ChGPU im. I. Ja. Jakovleva* 3(103): 126–134.
- Maksimov, S. A. 2025. Beserm'ansko-komi izoglossy kak svidetel'stvo bylyx kontaktov mezhdu narodami. *Linguistica Uralica* 61(2): 89–105.
- Mudrak, O. A. 1993. *Istoricheskie sootvetstviya chuvashskix i t'urkskix glasnyx: opyt rekonstruktsii i interpretatsii*. Moskva: Institut vostokovedenija RAN.
- Mudrak, O. A., F. G. Khisamitdinova. 2018. *Kypchakskie jazyki Uralo-Povolzhja*. Astana: Gylym.
- Munkácsi, Bernát. 1883. Idegen elemek a votják nyelvben. *Nyelvtudományi Közlemények* 18: 55–155.
- Munkácsi, Bernát. 1896. *A votják nyelv szótára*. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.
- Musikhin, A. L. 2013. Gramoty karinskim arskim kn'az'jam XVI v.: istorija publikatsii i izuchenija. *Jezhegodnik finno-ugorskix issledovanij* 2013(4): 82–90.
- Napol'skix, V. V. 2018. *Ocherki po etnicheskoi istorii*. Kazan': Institut arxeologii im. A. Kh. Khalikova Akademii nauk Respubliki Tatarstan.
- Napol'skix, V. V. 2021. Udmurtskaja akashka ~ beserm'anskaja akajashka i pozdnesrednevekovaja etnicheskaja istorija Nizhnego Prikam'ja. *Etnografija* 4(14): 37–54.
- Napol'skix, V. V. 2025. K etimologii russk. *bezmén*. *Voprosy jazykoznanija* 1: 136–147.
- Napol'skix, V. V. 2026. O vremeni i istoricheskix obstojatel'stvax permskoj denalizatsii. *Tomskij zhurnal lingvisticheskix i antropologicheskix issledovanij* 51(1): 29–39.
- Nasipov, I. S. 2010. *Finno-ugorskie zaimstvovaniya v tatarskom jazyke: sinopsis i taksonomija*. Doctoral thesis. Kazan'.
- Nugteren, Hans. 2011. *Mongolic phonology and the Qinghai-Gansu languages*. Utrecht: LOT.
- Ostanina, T. I. 2021. Gordinskij kamen' 1323 g.: novye svedenija. *Povolzhskaja arxeologija* 38(4): 179–190.
- Ponarjadov, V. V. 2014. *Razvitije glasnyx v permskix jazykax*. Syktyvkar: Komi nauchnyj tsentr UrO RAN.
- Poppe, Nicholas. 1977. On Chuvash-Mongolian Linguistic Contacts. *Journal of the American Oriental Society* 97(2): 111–114.
- Räsänen, Martti. 1920. *Die tschuwassischen Lehnwörter im Tscheremissischen*. Helsinki: Société finno-ougrienne.
- Rédei, Károly, András Róna-Tas. 1972. A permi nyelvek ősspermi kori bolgár-török jövevényszavai. *Nyelvtudományi közlemények* 74: 281–298.
- Rédei, Károly, András Róna-Tas. 1975. A bolgár-török-permi érintkezések néhány kérdése. *Nyelvtudományi közlemények* 77: 31–44.
- Rédei, Károly, András Róna-Tas. 1983. Early Bulgarian loanwords in the Permian languages. *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae* 37: 3–41.
- RES 5 = Anikin, A. E. 2017. *Russkij etimologicheskij slovar'*. Vypusk 5 (buba I — vakshaf). Moskva: Jazyki slav'anskix kul'tur.
- Róna-Tas, András. 1975. The Altaic theory and the history of a Middle Mongolian loan word in Chuvash. In: L. Ligeti (ed.). *Researches in Altaic languages*: 201–211. Budapest: Akadémiai Kiadó.
- Róna-Tas, András. 1982. Loan-words of ultimate Middle Mongolian origin in Chuvash. In: András Róna-Tas (ed.). *Studies in Chuvash Etymology 1 (Studia Uralo-Altaica 17)*: 66–134. University of Szeged.
- Róna-Tas, András. 1988. Turkic influence on the Uralic languages. In: Denis Sinor (ed.). *The Uralic languages: Description, History and Foreign Influences*: 742–780. Leiden: Brill.

- Sammallahti, Pekka. 1988. Historical phonology of the Uralic languages. In: Denis Sinor (ed.). *The Uralic languages: Description, History and Foreign Influences*: 478–554. Leiden: Brill.
- Savelyev, A. V. 2023. Kommentarii k chuvashskim materialam G. F. Millera. *Rossijskaja t'urkologija* 40–41: 24–52.
- Savelyev, A. V. 2025. *O kriterijax vyjavlenija i stratifikatsii bulgaro-chuvashskix zaimstvovanij v permskix jazykax I. Voprosy jazykovogo rodstva* 23(1–2): 137–167.
- Savelyev, A. V., N. S. M'asnikov. 2026. *K proisxozhdeniju etnonima chuvash: osnovnyje versii i ix istoricheskaja interpretatsija. (Nauchnyje doklady ChGIGN 42.)* Cheboksary: Chuvashskij gosudarstvennyj institut gumanitarnyx nauk.
- SChJa = Ashmarin, N. I. 1928–1950. *Slovar' chuvashskogo jazyka. T. I–XVII*. Kazan' / Cheboksary.
- Serebrennikov, B. A. 1963. *Istoricheskaja morfologija permskix jazykov*. Moskva: Izdatel'stvo AN SSSR.
- SIGTJa 2006 = Tenishev, E. R., A. V. Dybo (eds.). 2006. *Sravnitel'no-istoricheskaja grammatika t'urkskix jazykov: Prat'urkskij jazyk-osnova. Kartina mira prat'urkskogo etnosa po dannym jazyka*. Moskva: Nauka.
- SRNG 3 = Filin, F. P. (ed.). 1968. *Slovar' russkix narodnyx govorov. Vyp. 3: Blaznishka — Bjashutka*. Moskva / Leningrad: Nauka.
- Tep'ashina, T. I. 1968. O smeshenii terminov “chuvashi” i “beserm'ane” v pis'mennyx istochnikax. In: *Uchenyje zapiski ChNIIJaLiE 40: Istorija, etnografija, sotsiologija*: 177–187. Cheboksary: Chuvashknigoizdat.
- Tep'ashina, T. I. 1970. *Jazyk beserm'an*. Moskva: Nauka.
- TTDS = Makhmutova, L. T. (ed.). 1969. *Tatar teleney dialektologik syzlege*. Kazan: Tatar. kit. nashr.
- TTZDS = Bajazitova, F. S., D. B. Ramazanova, Z. R. Sadyjkova, T. Kh. Khajretdinova (eds.). 2009. *Tatar teleney zur dialektologik syzlege*. Kazan: Tatar kit. nashr.
- UEW = Rédei, Károly. 1988–1991. *Uralisches Etymologisches Wörterbuch*. Budapest: Akadémiai Kiadó.
- Usacheva, M. N., T. A. Arkhangel'skij, O. L. Birjuk, V. A. Ivanov, R. I. Idrisov. 2017. *Tezaurus beserm'anskogo narechija: imena i sluzhebnyje chasti rechi (govor derevni Shamardan)*. Moskva: Izdatel'skije reshenija.
- Üpymarij (Vasil'ev, V. M.). 1926. *Marij muter*. Mosko: SSSR kalyk-vlak rüdö savyktysh.
- VEWT = Räsänen, Martti. 1969. *Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen*. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
- Viitso, Tiit-Rein. 1993. Livonian köps ‘hare’ and Finnic *korva ‘ear’. *Linguistica Uralica* 29(2): 89–94.
- Wichmann, Yrjö. 1903. *Die tshuwassischen Lehnwörter in den permischen Sprachen. (Mémoires de la Société Finno-ougrienne XXI.)* Helsinki: Druckerei der finnischen Litteraturgesellschaft.
- Wichmann, Yrjö. 1915. *Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Wotjakischen mit Rücksicht auf das Syrjänische. (Mémoires de la Société Finno-ougrienne XXXVI.)* Helsinki: Druckerei der finnischen Litteraturgesellschaft.
- Wichmann, Yrjö. 1987. *Wotjakischer Wortschatz. (Lexica Societatis Fenno-Ugricae 21.)* Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
- WOT = Róna-Tas, András, Árpád Berta. 2011. *West Old Turkic: Turkic Loanwords in Hungarian. Parts I–II*. Wiesbaden: Harrassowitz.
- Zhivlov, Mikhail. 2023. Reconstruction of Proto-Uralic. In: Daniel Abondolo et al. (eds.). *The Uralic Languages (2nd edition)*: 117–175. NY, Abingdon: Routledge.

Alexander Savelyev. On the criteria for identification and stratification of Bulghar-Chuvash loanwords in Permic II

This article is the second and final part of a study of Bulghar-Chuvash loanwords in the Permic languages. It proposes additional phonetic criteria for identifying late (14th–15th-century) Bulgharic loanwords, primarily in Udmurt, whose source language is identified as Middle Chuvash. The first part of the study identified a layer of early (8th–9th-century) borrowings from Old Chuvash into Proto-Permic. Against this background, the article discusses the mechanism of loanword renewal in the Bulgharic-Permic contact lexicon. In particular, it examines cases in which an older borrowing was retained in Komi but replaced by a more recent Chuvash loanword in Udmurt, as well as cases in which an older borrowing was retained in Udmurt but replaced by a Russian loanword in Komi.

A separate section addresses areas of late, highly localized contact between Middle Chuvash dialects and the already differentiated dialects of the Permic languages, with particular attention to the possible presence of a Chuvash-speaking population in the Cheptsä River ba-

sin as late as the 17th century. In this context, the article discusses possible traces of late Chuvash influence specific to Beserman, Northern Udmurt, Southern Komi-Zyrian, and Cheptsä Tatar varieties.

Following the discussion of the other identifiable strata of Bulgharic loanwords in Permic, the final section examines a distinct group of borrowings widely distributed across both Udmurt and Komi dialects (including areas beyond the Southern Komi zone) that exhibit non-trivial Komi-Udmurt correspondences. These borrowings are tentatively dated to the 10th–13th centuries; the proposed source language is Late Old Chuvash, and the likely recipient is the Common Permic continuum undergoing disintegration. Overall, the proposed reconstruction points to virtually continuous Bulgharic-Permic linguistic contacts from the beginning of the Bulghar migration into the Volga-Kama region at the very end of the 7th century until the 16th–17th centuries, when the Chuvash population of *Arskaya Storona* was gradually assimilated into the Tatar population, while the presumed Chuvash ethnolinguistic component in the Cheptsä region was likewise absorbed into the surrounding populations.

Keywords: Permic languages; Udmurt language; Komi language; Bulghar-Chuvash loanwords; Chuvash language; Tatar language; language contact; stratification of loanwords; historical phonology; etymology.

